

Артур Аршакуни



ПАМЯТЬ ВОДЫ

Апокриф гибридной эпохи.
Книга третья

Артур Аршакуни

**Память воды. Апокриф
гибридной эпохи. Книга третья**

«Издательские решения»

Аршакуни А.

Память воды. Апокриф гибридной эпохи. Книга третья /
А. Аршакуни — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-969391-4

Я — безумец. Я — безумец. Я — прах и пепел. Прах и пепел. Ибо у меня нет
ничего, кроме прошлого, цена которому — тот же прах и пепел.

ISBN 978-5-44-969391-4

© Аршакуни А.
© Издательские решения

Содержание

Часть третья	6
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Память воды Апокриф гибридной эпохи. Книга третья

Артур Аршакуни

© Артур Аршакуни, 2019

ISBN 978-5-4496-9391-4 (т. 3)

ISBN 978-5-4496-6222-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть третья

*Тогда отвечал я и сказал ему: что значат те две маслины
с правой стороны светильника и с левой стороны его?*

И сказал он мне: ты не знаешь, что это?

Я отвечал: не знаю, господин мой.

*И сказал он: это два помазанные елеем,
предстоящие Господу всей земли.*

Зах., 4-11, 13, 14.

* * *

Человек.

Чужой.

Нет, не чужой. Вырядился. В белом хитоне... Отсюда не видать, но я не удивлюсь, если красавец писанный. Тогда все сходится.

Что сходится?

Хорошо, что я стар. Мне не грозит ничего, кроме смерти.

Что ты несешь?

Хорошо, что я пьян. Иначе мне пришлось бы хоронить свое любопытство и обманывать самого себя, что не осталось иного удовольствия, как только потрепать языком с незнакомцем.

Отсюда и не видать, мужчина или женщина.

Эх, старый дурень. Женщина? Одна? Здесь, в Зарыданье?

От дурня слышу. Почему и нет, если пришлый? Слышал я от стариков, сам будучи отроком, что за нашими горами, – да не за этими, – за нашими! – так вот, за нашими горами, там, куда падает тень от палки в полдень, встают еще более высокие горы, а за ними – земля, гладкая, как речь льстеца. И землю эту заселяют люди, у которых верховодят женщины – с власами до земли и одной грудью. Они...

Враки.

Это он.

Так вот, они...

*Враки! Ты сам старик, да, да, не притворяйся,
и уж ты-то знаешь, насколько можно верить речам стариков, особенно после
пузатого кувшина.*

Насчет кувшина ты прав. Налью.

Погоди. Ты сказал: это он?

Или подождать?

*Не может быть. Что же ты сидишь и тратишь время попусту
наедине с этим кувшином?*

Нет, налью.

*Ну, давай, давай.
Скрыться не успеешь?*

*От смерти не убежишь.
Кха! Кху! Ху! Хух!*

Дурень.

Уф...

*И как эллины пьют вино, разбавленное водой? Пить вино, разбавленное водой, оцени
сравнение, все равно, что познать девственность, разбавленную другим мужчиной. А?*

Ты пьяный похотливый старик.

Точно.

А вот насчет стариков, разбавляющих истину ложью... Не ко всем это относится.

Да уж, это точно...

*Я о тех, кто достиг того возраста, когда лгать становится трудно. Словно оскверня-
ешь рот. Ну, если только самую малость прихвастнуть...*

Покажи мне меру своей малости.

Хорошо, что овцы окотились.

Да не бойся, правда, не бойся. Жил, не жил...

*Сбил с мысли. О чем это я? Да... А что до жєницин... Они живут в узком круге ограни-
чений, половина которых – от природы, но только половина. Остальное навязали им мы. Да...*

Налью. Этот овечий сыр! От него ну просто пожар во рту.

И что?

Кха! Кху! Ху!

Уф...

*Ничего. Наш круг больше, но мы знаем, что это тоже круг, круг ограничений. Но они,
выйдя из своего круга и попав в наш, этого не знают. Они не знают границ этого круга.
Поэтому жєницина способна превзойти мужчину – как в доблести, так и в низости.*

Он уже рядом, а ты рассуждаешь!

Человек – радость. Незнакомый человек...

*Человек, я говорю, – радость, а незнакомый человек – радость вдвойне. Мир тебе, добрый
чужеземец, и пусть солнце одинаково освещает и твою голову, и мою лысину, и эти камни,
и этих овец. Они окотились, и это хорошо, потому что я могу позволить себе радость выбрать
для гостя самого аппетитного ягненка. А еще кувшин с молодым вином, а еще овечий сыр,
пахучий, как подмышка разгоряченной любовью жєницины, а еще студеная вода из родника.
Ну, если этого мало, я добавлю это солнце. Бери. Дарю. Оно твое. Ха! Кха! Кху! Ху!*

Уф...

Скажи, скажи.

Скажи!

Скажи же.

Это была шутка.

Прости выжившего из ума старика, у которого одна радость – потрепать языком с незнакомым человеком,

вот то-то и оно

хотя бредни его сродни журчанию родника: его не слышишь, пока не одолеет жажда.

Однако слова словами, а дело делом. Идем к отаре. Выбирай. Смотри, вот они все перед тобой. Разные. Черненькие, беленькие, пестрые. А нрав? Э! Задира и тихоня, егоза и сидень, и разве скажешь, что от одной матки? Как люди, что ты! Двух одинаковых не найдешь, да.

Этот? Ну и славно. Гони сюда. Гони, гони, так, хорошо. Ведь вся штука в том – кха! Кху! – что на вкус они все одинаковы, верно говорю. Здесь, у ручья. Подержать надо будет. От человека все зависит. Ноги, ноги. Возьми ты и дай двум людям по половинке. И что? Держи, говорю. Это мой добрый нож. Перед ним все равны, и черненькие, и беленькие. Кха. И что, говорю? Один тебя углем насытит, а второго возблагодаришь за царское угощение. Люди! И они то же самое. Те же овцы. Голову вбок. Славно. Сцедить надо кровь. Она и пойдет. Под камни, а там ручей. А ручей куда? В другой ручей. Ты не знаешь, а я скажу: под землей все воды едины. Пустыня? Как бы не так. Глянь, куда солнце садится, холмы там на убыль пошли. А? Зарыда-нье. Значит, что?

Ты что?

Ничего.

Ха! Кха! Кху! Ху!

Уф...

Это я пошутил.

Мне страшно.

Бери за ноги. Пойдем к костру. Свежевать – мне сподручней. Пока язык болтает, руки свое дело делают. Только сначала выпьем. Выпьем. Не то. Хотя... Да. Своим чередом. Подумай: я, старик, в затруднении. Ибо полагается выпить за гостя. Так? Так. А с другой стороны, вот этот ягненок лишен нами жизни, и полагается выпить за него, чтобы он был не в обиде и не ожесточил себя на угольях. Так? Так.

А мы выпьем хитро: я – за тебя, а ты – за ягненка. Так? Так.

Кха.

Нет, не так. Надо уделить этому ягненку немного вина. Вот, совсем другое дело. Еще соли, хотя и мало ее, да ладно. Травки пахучей... Э, что говорить? Хватит вина, что ты! Травы еще положи.

Вот я и говорю – люди как овцы. А овцы – э! Окинь взглядом эти холмы. Вот такие гурты я гонял на зимние пастбища. Много, много! Мне сподручней дюжинами. А по-вашему я и не умею. Как? Вот скажи ты мне число, какое хочешь. Пятнадцать? Это для тебя – пятнадцать, я для меня – три полудюжины без трех. Да. Когда был в силе, да с двумя подпасками посмышленей – три дюжины дюжин гоняли. Вот так. Отец – да живет память о нем через мои уста и твои уши – уж на что был скуповат на похвалу, и то выделял из всех. Из людей, говорил, – пастухи, из пастухов – Эль-умм Иут-дин, ибо таково мое имя.

Смеешься? А я на сей раз не шучу. Ну, мясо созрело. Пора обручить его с костром. Сиди, сиди, управлюсь. Знаешь, сколько через мои руки ягнят да барашков прошло? Да! Из людей –

пастухи. Мы, пастухи, свободны, как вот этот дым над костром. О! Чуешь, каким духом потянуло? Нет над нами хозяина. И никто не мешает размышлять. Многое нам ведомо. Известно ли тебе, что Египет, когда он еще был львом над остальным миром, завоевали мы, пастухи? Кичливые римляне тогда еще жили в волчьих норах и только еще учились высекать огонь камнем о камень! Э, римляне! Что римляне? Возьмем ближе, кха. Здесь, в трех днях пути – Десятиградие, задний двор Иудеи. Слушай, они считать не умеют, да? Мне полдюжины по дюжине лет. Сколько раз я исходил их Десятиградие с гуртами – сам не помню. Нет там десяти городов. Хотя... Если одинокий дом считать селением, а три рядом стоящих дома – городом... Нет, тоже не получается! Но нет, им застит свет число «десять». Они считают давно заброшенные места, где жители – гадюки и полынь, и получается «десять». Тогда мне надо считать себя «дюжемужем», включая в меня моего отца – да хранит память о нем эта чаша с вином, которую я передаю тебе, – отца моего отца – да хранит память о нем солнце, заключенное в этом вине, – и так до дюжины, ибо мне она нравится больше, чем десяток.

Выпьем,

Потому что ты не помнишь, о чем говорил только что!

потому что я не помню, о чем говорил только что.

Ха. Кха. Кху. Ху.

Уф.

Вспомнил.

Доброе вино.

Они своего царя, царя Давида, царя из царей – царь, как царь, ничего тут не скажешь, кроме того, что негоже царю песни играть да скоморошничать, – чтобы подчеркнуть его величие, производят от пастухов. Они, слушай, своих пророков, – сказать тебе, кто такой пророк? – пророк – это вроде почетной должности, когда прав у тебя – до небес, а ответственности никакой, ну, разве что побьют тебя камнями, но это всего один раз, зато представляешь сколько можно наговорить всякого, поэтому все они стремятся попасть в пророки, – слава, она слаще тех яблок, что за пазухой у юницы, – так вот они, слушай, своих пророков называют не иначе как пастырями. Э? А самый главный у них...

Ну, вот.

Я этого не говорил. Я это от тебя услышал – вот этими самыми ушами.

Значит, говоришь, Бог. Попробуй. Ну, как? Погоди, погоди. Не спеши. Где мой котел? Ага. Сложим мясо в него да сбрызнем вином, пусть натомится рядом с жаром.

Ладно. Что?

Молчи, молчи.

Молчу.

Ладно, говорю, пусть будет. Так они Его

Ты же молчишь!

называют Добрым Пастырем. Значит, из людей – пастухи... Э, дорогой,

Беседа занятная.

люди – овцы! Лепешки, сыр, все бери. Давай, теперь настал черед твоим зубам. А я, беззубый, посижу, твоим довольствием довольный. Овцы. Ты думай, а я налью.

Кха.

Бог?

Какой Бог?

С шакалей или крокодильей мордой, головой ястреба, телом змеи, – выбирай! – или многорукий и многоногий, или многоглавый, или, может, многоглазый? Или просто деревяшка с глазами и ртом? Или... Слушай, ты просто называй, что увидишь, или что взбредет в голову,

а я буду кивать головой, и не скажешь ты ничего такого, на что бы я не кивнул, не будь я Эль-умм Иут-дин. Пламя, огонь? Ладно. Солнце? И это вся твоя фантазия? Нож? С удовольствием. Мне нравится с костяной рукояткой. Овца? А почему нет, если люди овцы, а славнее ее нет на земле? Глупость человеческая? И-и-и, мое почтение, родная сестра мудрости.

Погремушка! Погремушка, которой мать забавляет хныкающего младенца.

Из страхов, из тайных желаний. Из слабостей. Из тоски смертной.

Разум? Э, слушай, можно без глупостей, да?

Сначала давай решим, твой это разум или нет. Когда ты решаешь, слушать ли дальше этого старого брехуна или прервать, это решаешь ты сам или Кто-то за тебя? Сам?

Тогда налей.

Когда он начнет?

Помолчи, ладно?

Тогда Книга Судеб – высохшая коровья лепешка. Или крик осла, если тебе так больше нравится. Причем облезлого. И шелудивого. Никак не нравится? Кха. Кху. Ху.

Или твой разум, или твой Бог.

А, ты хочешь и то, и другое. Почему нет?

Хоти!

Тогда давай решим, разум это или нет. Да не смеюсь я, не смеюсь. Хотя и улыбаюсь. Хороший ты человек. Да и я неплохой. И нам, двум хорошим людям, хорошо сейчас.

Ты пьян.

Да.

Да.

Ладно. Если рядом с домом упадет дерево, – от ветра ли, рук человеческих, неважно, – посуда в доме зазвенит и подпрыгнет от сотрясения земли. Верно? Но ты же не станешь утверждать, что источник звона посуды – в ней самой.

Теперь давай вместе подумаем, дельная это штука или нет, твой разум.

Смотри, пчела. Это хорошо. Места здесь хорошие. Сухие. Сухость пчеле первое дело. Если ты живешь в городе и не знаешь, то я тебе скажу: иди за пчелой... Да сиди ты на месте. Вот народ! Они рассуждают о Боге, невидимом, неслышимом, неосязаемом – и что там еще? – да, необоняемом, а не понимают, если к ним обратиться иносказательно. Иди за пчелой, говорю, наблюдая ее полет от цветка к цветку. Она приведет тебя к своему гнездовью. Берегись пчелиного роя и будь небрезглив, ибо гнездовье может оказаться в дупле, в скале, просто в земле или даже в трупке шакала. Мед един, вот и едим... Да. А я тебя попрошу сделать с помощью твоего разума то, что делает маленькая неразумная пчела. Изучи ее жилище, познай вещество пчелиного воска. Воспроизведи его. Все равно окажется, что ты не учел чего-то пустякового, и из твоего воска не вылепить соты. А потом выяснится, что стенки твоих сотов на самую малость, – ну, вот как если расщепить овечью шерстинку на дюжину дюжин частей, – тоньше, и не выдерживают даже собственного веса. А потом твой мед станет вытекать из них, ибо не будет загустевать почему-то, а потом окажется, что по причине или отсутствию такой же самой малой малости твой мед вызывает синюшность у младенцев и бесплодие у женщин, но очень хорош как средство для выведения бородавок... Продолжать или довольно? Я тебя спрашиваю: зачем пчеле твой разум? Она трудится без него, и давай признаем, что довольно успешно. Ты скажешь, что дело во времени, что, постепенно изучая и так далее... Рано или поздно...

Эх!

Посмотри вокруг. Видишь – солнце, травка, овечки, ручей журчит...

Пчела – вот это все.

А пчела – это ничтожная малость мира.

Солнце, травка,

Ты уже повторяешься, пьяный старик!

стало быть,

Молчи.

овечки, ручей журчит... Овечки

щиплют травку, отдавая земле свои катышки. Их размочит дождем, и земля унавожится, чтобы снова взошла трава. А дождь снова сменится солнцем. Зачем миру твой разум?

Разум – болезнь. Человек один болен этой страшной болезнью. Мир отверг его, как зачумленного, и он ходит, неприкаянный, не находя покоя ни в мире подлинном, ни в мире выдуманном, а значит, умотворенном.

А теперь скажи мне, что такое тогда твой Бог, если Его называют Мировым, Вселенским Разумом?

Уж если мы заговорили о болезни... Взгляни на пса, что с остервенением выгрызает блоху у себя из-под хвоста. Не о тебе речь, старая. Ты у меня славная, неблохастая... Корми своих щенков. Что блоха? Она должна быть, раз существует. Порядочный пес имеет в своей шерсти дюжину таких созданий – и ничего, доволен своей собачьей судьбой. Как и они. Мера! Мера! Но стоит ему ослабеть, от старости, голода или от увечья, полученного в сваре, как мера равновесия между псом и блохами нарушается, и он оказывается по уши облеплен этими тварями. Еще немного, и они сжирают его заживо.

Не то же ли вера человека?

Тебе больше не стоит пить.

Посмотрим.

Посмотрим, ладно?

Прости, это я так. Ум за разум... Вот ведь как, а? Ты подумай. За разум. В словах больше мудрости, чем мы подозреваем. За разум. И ничего хорошего при этом не жди.

Кха. Еще говорят: разум познает мир. Ты слышишь? И говорят при этом с дрожью в голосе, дланью, вознесенной к небесам, и челом, озаренным, чем там полагается быть озаренным челу. Познает! Не чувствуешь ли ты в самом этом слове, что разум и мир противоположны по сути, ибо познание – это всегда насилие, как ты ни крути. Человек познает женщину, и после этого она считается обесчещенной. Скажи мне, что будет с истиной после того, как ее познает разум? Ты понял. Мрак – это не всегда отсутствие света. Это иногда настолько яркий свет, который может ослепить.

Разум. Кха. Мы ведь с тобой заговорили о серьезных вещах, так что довольно о глупостях. Я? А что я?

И-и, когда ты станешь таким же старым, ты поймешь, что люди интересны не тем, что у них общего, а каждый своим, неповторимым. Скажу еще, не дожидаясь, когда ты станешь таким же старым, – люди едины в своем разном и разъединены в своем едином.

Что же, скажу тебе и о вере.

Вот! Вот!

Я скажу, что человек – один человек, сам по себе, – никогда не сможет быть истинно верующим, ибо если источник веры находится вне его, то источник искушения и греха – в нем самом. Народ – другое дело. Вера для него – что закваска для сыра. Только не говори мне, что истинная вера как раз и состоит в преодолении искушений и победе над грехом. Если в доме

начинается пожар, стоит только внести в него светильник, так что приходится заливать стены водой, как жить в таком доме?

Вера. Она дает силу, опору, так? Тогда она – от слабости человека, от нутра, снизу, от земли, если прах к праху. Тогда безверие – сверху, от неба, от вселенского могущества и силы. Не понял? Скажи мне, в кого верить Ему, если выше Его нет никого и ничего? Не в Себя же Самого, ибо отсюда гордыня. Э? Вот и получается, что Он – Главный Безбожник. Вот твоя вера и вот твое безверие. Мрак и свет, вспомни. В сумерки ничего не разобрать, все одинаково серо. Чем ярче солнце, тем жгуче тень.

Не перебивай меня, а дослушай. Ты о душе? Так и я о ней. Не о плоти, и без того хуленной и хаянной, – о душе, состоящей из двух половинок. И да будет тебе известно, что вера соседствует в ней с грехом и искушением. И чем выше и ярче сияет в ней вера, тем глубже и чернее зияет в ней грех. И отделить одно от другого ты не сможешь, как не сможешь отделить мысль от слова.

Итак, – и за это, право, стоит поднять чаши, —

Опять?

Ну – только поднять.

вера и грех не могут друг без друга. Вера – как запрет, а грех – как дозволение. Наивернейший способ добиться появления греха – это запретить его, пусть даже речь идет о невиннейшем деле.

Смеешься? Я приведу тебе умозрительный пример, а потом мы посмеемся вместе.

Ты, положим, царь и господин над каким-нибудь народом. И вздумалось тебе объявить ему свою монаршую волю: считать преступлением, более того, – грехом, более того, – величайшим святотатством, а стало быть, тягчайше наказуемым деянием палец, согнутый крючком. Смеешься? Еретик!

Не будем говорить о естественной и простительной слабости человека – о том, что его прямо-таки охватывает зуд совершить то, что ему запрещено. Тем более палец крючком – ну что за ерунда! Не будем. Народишко твой – законопослушный и, как сказали бы эллины, которых хватает в Зарыданье, кратофил. Ты не возражаешь против этого? Славно.

Тогда прими во внимание, что самый распрекрасный закон (а ведь твой закон именно таков, разве нет?) мертв, пока у него нет острых глаз, чутких ушей и длинных рук – с крепкими кулаками. Тебе надо будет приделать этому закону и то, и другое, и третье, в придачу с четвертым, хотя бы для того, чтобы отходить ко сну, радуясь за своих подданных, таких на диво преданных монаршей воле.

А что такое эти глаза, уши, руки и кулак? Правильно. Должности. А что такое должности? Верно. Люди. А что такое люди? Да, да, да. Это сварливые жены, сопливые детишки, престарелые родители, племянник-неслух, кум-тугодум со своей оравой, наложницы с алчбой во взоре и свалившийся на голову друг детства, которого не видел полжизни и еще бы столько же не видать... А если серьезно, то любой человек, приставленный тобою к закону, будет стремиться изо всех сил доказать свою нужность и полезность. Ты не возражаешь против этого? Чудесно. Тогда будь готов к тому, что в один прекрасный день уши услышат, глаза выследят, а руки задержат и доставят к тебе неких перепуганных, охарактеризовав их как подозрительнейших смутьянов, которые подстрекают народ к мерзостям, – прости, о повелитель! – согнутия – неслыханно! – пальца – нет, страшно вымолвить! – крючком, а также парочку, которая предавалась постыдному деянию втайне.

Твои действия, солнцеликий? Отпустить несчастных на все четыре? Подашь дурной пример непочтения к слугам закона, заодно поколеблешь устои несокрушимой доселе веры в самый закон. Хорошо. Ты объявишь своему народу, что суд рассмотрит все беспристрастно и вынесет правильное решение. Да. Так оно и будет! Решение будет вынесено воистину пра-

вильное. А те, некие, допустившие промашку попасть в лапы закона, возьми и упрись. Ведь между нами, повелитель, они действительно невиновны. А поскольку судейские люди тоже есть-пить хотят, у них на этот случай разработан целый набор средств пообщаться с упрямыми накоротке, начиная от бича и заканчивая дыбой или заостренным колом. Уверяю тебя, мало кто найдет это общение приятным для себя и не поспешит сознаться в чем угодно, лишь бы избежать пытки. А если таковой и найдется, это будет дар небес правосудию, ибо злостных еретиков ему только и не хватало.

Какую казнь ты предпочитаешь, лучезарнейший? А, тебе неприятно. Что ж, давай пропустим печальные листы истории твоего народа и заглянем хотя бы на пару тысяч лет вперед. Ну, как там?..

Наш закон... Закон? Бери выше – завет, ему так больше подобает за давностью лет! Наш завет оброс историей, легендами и сказаниями. В нем есть все: мученики и еретики, хулители и страстотерпцы. Есть и святые – куда без них! Только в святых не тот, кто воистину свят, – он-то и попал под горячую руку, – а выюноватый пройдоха, который всю жизнь только и делал, что, накрывшись с головой в своей постели, выставлял палец крючком, гнусно при этом хихикая, а умер от страха, когда к нему постучали, обознавшись дверью. Бывает... Да. Создан целый сонм толкователей истории и – отдельно – сказаний, причем часть их отброшена как прельщающая паству, а вторая поощряется и вменена для изучения и заучивания наизусть. Само собой, отброшенная часть не исчезла, а впиталась темным людом, породив бесчисленные ереси и секты, самой влиятельной из которых является орден Перстовников, глава коих глумится над истинной верой, нося на груди золотую цепь со смарагдом в форме кощунственного пальца. Для борьбы с ним создан тайный орден Беспалых, члены которого узнают друг друга по изуродованной еще во младенчестве руке с четырьмя пальцами. Ересью с уклоном в другую сторону является набирающее силу в развращенной части населения – плясунов, канатоходцев, глотателей огня, чревовещателей, стихоплетов и прочих праздных затейников – учение о том, что все пальцы на правой руке греховны, кроме указующего, а посему подлежат скорейшему отсечению. А в целом – ничего, жизнь продолжается своим чередом...

Ну, утомил я тебя. Давай посмеемся теперь вместе, потом ты налей за забавную сказку, а я переведу дух.

По-моему, я заслужил эту чашу.

Молчишь?

Проследи, чтобы чаша была полна. Язык к небу присох.

Ха!

Видишь, как мы с тобой – мотаем, мотаем клубок, а ему конца нет. Разум, душа, вера... Что там еще?

С Ним сложнее. Одна головная боль. А без Него никак. Бог не палка, выбросить жалко. Э? Деревяшка? Так ее топором и в огонь. Зверь страхолюдный? И на него управа найдется. Куда-нибудь подальше на небеса? И туда когда-нибудь доберутся, – ты что, людей не знаешь?

Спору нет, тут иудеи поступили витиеватее всех. Нет, ослиная голова – это для пугливых младенцев. Бери круче. Они объявили, что Он непознаваем. И все. Он – везде и нигде. Вот так. И как хочешь понимай, а лучше не понимать вовсе и просто считать должным.

И вот сидишь вот так на камне и лениво думаешь: ладно. Он – воплощение всего. Тогда все – воплощение Его, верно? И тогда очень может статься, что Он сейчас воплощен в образе во-он того барашка с нагуленным курдюком. Или – кха! – в образе плешивого и чрезвычайно болтливого старика, с которым ты сейчас ведешь беседу. Э? Вот я сейчас приму грозный вид и нахмурю брови. Похож?

Кха! Кху. Ху.

Уф.

Не довольно ли?

Согласен.

Я не о том. Человек слаб.

Вот именно поэтому! И потом, человек слаб или просто этого хочется его душе?

Не знаю.

Знаю, почему и зачем ты здесь. Еще когда только тебя заметил. Между прочим, раньше этой кудлатой. Стара стала, сучья дочь, зубов уже нет, глухая, как пересоший колодец. А туда же. Оценилась. Где она себе ухажера нашла, скажи! Пустыня кругом. И ведь позарился на нее же кобель, а? Мы ведь с ней, бывало... Хотя, это больше с ее отцом да дедом. Собачий век... Сейчас в Иудее неспокойно. Шум. В Зарыданье слышно. А здесь – эхо да отголоски. И то. Правда, когда у них спокойно было? Сколько себя помню, то один пророк, то другой, и все Мессию ждут. Одного камнями, другого слушают, а думают о третьем. Такой народ. Каменный в своем непостоянстве. Так вот, – уже, говорят. Пришел. Кто, кто... Мессия. Э, вон как глаза заблестели. Интересно, да? Учти только, у тебя свой интерес, а у них – свой. Вот так. Я сказал, а ты слышал.

Что ты несешь? Это же он!

А самые многомудрые рассуждают так: ведь не мог же Он свалиться на голову ни с того, ни с сего. Значит, что? Значит, годы и годы назад надо искать доказательства Его пришествия. А что, здорово. Вполне. И что ты думаешь? Находят! Находят, не сойти мне с этого камня. И звезда тут тебе стоячая, и голоса с неба, и разные прочие знамения. Ну, если невтерпеж – обязательно найдешь. А ты спроси меня. Я ведь не всегда такой старый был. Я в те годы – о! И что интересно, давнее ведь помнишь лучше, чем вчерашнее. Вот ты уйдешь, я завтра и не вспомню. А те времена перед глазами. Да что там! Я всех своих овечек, что гонял с зимних пастбищ на летние, по мордам помню. А ты думал! Тут понимать надо.

Не торопиться? Солнце на убыль пошло. Ну, доскажу и начинай потихоньку собираться.

Был я там, в Иудее. Как раз в те времена. Погоди, дай сообразить... Как сейчас... Верно! Было это тому две с половиной дюжины лет. Верно, как я – Эль-умм Иут-дин. Бет-Лехем. Не доводилось бывать? Радуйся. Дыра дырой. А тут еще и зима. Грязь. Ветер. Какая там звезда? Дождь пополам со снегом не хочешь? Постоялый двор битком. Спину прислонить не к чему. Помню, всю ночь верблюды кричали, овечек моих пугая. Верблюды? Да. Караван. Купцы. Одного хорошо помню. Он все ближе к хозяину. Рука руку... Четки помню. Рука пухлая, и четки в ней, как фасолины в котле с похлебкой. Старик... Нет, какой старик, это тогда он мне стариком показался, а сейчас, я думаю, мне бы его те годы... Кулаки с овечьей морду. Кузнец не кузнец... От трудов рук своих. Да! «Сын не своей матери». К месту и не к месту. То уйдет, то придет. Беспокойный человек. Не пьяный, но близко к тому. Хотя у костра все были близко к тому. Кувшин по кругу. При такой-то погоде, согласись. Ушел, как не было. Были еще старики. Эти уж точно старцы, хотя и не древнее меня нынешнего. И явились, значит. Сразу видать, чужаки. Вроде тебя. Суетливые, что муравьи на закате. Взад-вперед, голова кругом. Искали чего-то. А может, и не искали, просто характер такой. Знаешь, есть старики-лежебоки, а есть – непоседы. Так вот, их тоже все знамения интересовали. А я что? У меня одно знамение – кувшин, да и тот к тому времени полегчал. Ну, я им, как полагается, чаши, сыр... Никак. Отнекиваются. Я смеюсь. Наши уже носами клюют, а мне смешно. Степенные старцы, говорю, а понятия никакого, вроде того младенца. Их как обухом, так и повело наискось. Какой младенец? Какой, какой... Тот, кто пришел в этот мир, что тут непонятного? Насторожились. А вида не показывают. И ты видел его? Как, мол? А я озорной был, что тогда, что теперь.

А что, говорю, младенец как младенец, одно только знаю, что сын не своей матери. Хмыкнули, губами пожевали и пошли своей дорогой. Облазили все кругом, хотя это я говорил.

Голодный я тогда был. Это я точно помню! Я тогда всегда голодный был. Кха. Голодный-то голодный, а последнюю лепешку свою отдал. Кому? Не поверишь. Рабыне. Ее, видать, купец вез на восток перепродавать. Они, невольницы-то, на востоке в цене, особенно которые нездешние. Белокурые. Жалко ее стало. Ребенок ее новорожденный помер в ту ночь. Очень уж она по нему убивалась. Сильно когда убиваются, то без крика, не знаешь? Вот теперь знай. Молча. Это страшнее всего. И ни от кого утешения. Невольница, что хочешь? Хотя нет, помню, какая-то старуха вокруг суетилась. Потом пропала. Потом гляжу – опять старуха со свертком. Шасть к невольнице. А та лежала, как хворостина. Потом, глядим, как подскочит. И в голос. То ли плачет, то ли смеется. Сын, говорит, сын мой! Спал, долго спал, а теперь проснулся. Ну, мы только переглянулись. Промолчали. Глядя на такую радость, как не выпить? А караванщики стали потихоньку собираться в дорогу. Только вот купец тот к тому времени уже ушел? Ушел, конечно. Или не ушел? Эх, голова... Потому что светать стало. Караваны всегда засветло в путь отправляются. Двор опустел, костер догорел. Одни мы, пастухи то есть. Тут и я своих растолкал, стали собираться. Вышли. И прошли-то уж далеко за Бет-Лехем... Только, знаешь, оборотился я, – идет один из них, из старцев этих, догоняет, самый молодой, кучерявый. Я – что? Жду. А он, значит, и ко мне. Запыхался, голос дрожит. Ты, говорит, мудрее своих слов. Поклонился, и пошел обратно, своих догонять. Вот так.

Дальше помню совсем смутно. Так что знамения, о которых сейчас кричат иудеи, не чудеснее вод Рыдана. А, ты и этого не знаешь? Ходит там сейчас очередной пророк. Ты заверни к нему на обратном пути, есть на что поглядеть. Ха-мабтил, хотя не отец его так нарек, это точно. Сиди, где сидишь, и не вставай, а то упадешь. Снимает, ты слышишь, снимает грехи с души омовением в речной воде. Понимаешь? Я – нет. Концы с концами. Потому что если Бог твой непознаваем – ладно. Пусть так. И что душа человечья невидима и бесплотна, – пусть. Что же ты ее водой из реки очищаешь? Символ? Тогда и вода должна быть символической. Без лягушек и тины. И почему тогда эту твою бесплотную душу не очищать огнем, задницей в костер? Кха! Или землю есть горстями – чем не символ? Э? Ладно. Пусть вода. В ней и вправду что-то есть. Без нее худо. Зачем при этом идти к реке? У себя дома крикни жену с кувшином и вылей его себе на голову. Вот ты и чист, аки голубь!

Кха.

Лягушки и тина. Козы пьют, собаки лапу задирают. Символ!

Мы с тобой ягненка с ножом обручили у ручья, верно? Я еще тогда хмыкал. Озорник, что поделаешь! Кровь струйкой – куда? К ручью. Ручей – дальше, к иным ручьям. Как ты думаешь, хоть одна капля до Рыдана дойдет?

Тогда он не водой будет грехи с душ смывать, а кровью.

Заболтал я тебя. По глазам вижу – сыт. Прости старика. Один я.

Ну, что – время? И то верно. Солнце – до утра, и нам пора. Что же. Славно мы провели время. Да сопутствует удача тебе – почаще, чем раньше. А теперь скажи: когда начнешь? Прямо сейчас?

Сейчас!

Молчи, я сказал.

Ну, я готов.

Собаку-то зачем? Щенят ее? Нет собачьей вины в том, что ты явился в этот мир. А ты низвел этот мир к собачьей жизни.

До чего хитроумная штука это вино. Ведь просто слегка перебродивший виноград. А что с человеком делает. Не то Бог, не то животное.

Хотя... Ты молодец, а то я бы стал думать о тебе лучше.

А! А!

Как больно...

Благодарю

Как больно...

тебя.

Молчи.

Он ушел?

Молчи.

Он ушел?

Он лишил меня света.

Он ушел.

Ну, что же: он остался со светом наедине.

* * *

Первую ночь Иссах прошел, ни разу не остановившись, ровным, размеренным, неспешным с виду шагом, каким ходят выросшие среди гор, – и неутомимым, как летний суховей с земли Аммонитянской. В зыбком – не свете даже, а предсветье – нарождающегося дня он на ходу нашел глазами исполинскую плоть Гелвуйских гор, удовлетворенно хмыкнул и взял круче к востоку. Когда же показалось солнце и вернуло миру привычные его краски, он уже прошел земли Иссахарские и вышел к Ередану. Пока он справлял нужду, глаза привычно оглядывали местность и нашли удобную нишу среди скал. Он полез туда, цепляясь за стебли ежевики не ощущающей шипов ладонью. Потом снова оглянулся. Сорвал и кинул в рот пару истекающих соком ягод. Сплюнул. Вдохнул. Потом снова оглядел кусты, посвистел негромко. Раздалось хлопанье крыльев. Иссах споро ухватил горлицу за крыло, одним движением оторвал ей голову и припал к пульсирующей алой струйке. Напившись, утер рот ладонью, брезгливо осмотрел неподвижный комок перьев в руке и отшвырнул в сторону.

– Вот так, – сказал он.

Голос только и выдал его усталость.

Через минуту он уже спал.

Он спал весь день и проснулся под вечер, когда вокруг уже сгущались тени. Солнце славно потрудилось, напоив землю зноем, так что теперь камни неторопливо цедили тепло, равно щедрые к живому и неживому вокруг себя. Иссах лежал недвижно, в той же позе, что и спал, – чуть согнув руку в локте и подобрал одну ногу для опорного усилия, чтобы сразу оказаться на ногах при опасности. День слабел под натиском ночи; ветви кустов постепенно густели, сливаясь в очертания странных зверей, эта игра понравилась камням и скоро стало совсем не разобрать, где куст, где камень, а где человек. Только небо на закате долго еще сопротивлялось владычеству одного цвета, являя миру гнев порфиры, истовость яхонта, беспокойство шафрана, надежду перламутра и, наконец, смирение жемчуга перед торжеством гагата.

Дарить, отнимая. Забирать, давая.

Кровь. Нет.

Вода. Память. Память воды. Нет.

Жизнь. Смерть. Нет.

Горлица.

Мириам. Нет.

Суламитт. Нет.

Старая сука. Старая сука.

Горлица.

Щенки.

Попискивающая под ногами дрянь. Ненавижу.

Обличье. Жесты. Походка. В детстве передразнивал Йошаата. Екевах. Нет.

Суламитт. Нет. Нет. Нет.

Обличье. Лик. Личина...

Имя.

Даниил. Агий. Захария. Малахия. Нет.

Иов. Нет.

Иона. Нет.

В чреве каменном. Нет.

Я знаю.

Я.

Он снял возникшее внезапно возбуждение блудом руки и полежал затем еще немного, успокаивая дыхание, умиротворенный, спокойный, уверенный в себе. Когда же ковш Хима¹ наполнился до краев безраздельной нерасплесканной мглой, он выполз из убежища. Среди звездной россыпи безмолвно и стремительно возник мрачный провал с очертаниями человека – вот его не было, а вот он есть – и двинулся в путь.

Ииссах снова шел всю ночь вдоль берега. Слева мерно плескала о камень вода, справа трещали цикады. Звуки эти – мира и моря, хляби и хлеба – служили ему вехами на пути. Потом Ередан раздвинул берега, дойдя до удобного песчаного ложа, и умерил плеск. Роса же заставила умолкнуть цикад. Мгла редела. Крепкая мозолистая пятка встала на тесаный камень.

Дорога.

Жилье.

Так далеко он еще не заходил.

Восток алел. Ииссах обошел стороной город, еще дремлющий в эти предрассветные, самые сладкие для сна часы, и снова вышел к реке. Постоял и сел у воды, не ища убежища, ибо так было надо теперь.

В Назире солнце вставало из-за вершины Фавора, а здесь? Он покрутил головой. На закате высились освещенные восстающим светилом две вершины рядом, словно братья.

Гаризим и Геваль? Тогда...

Тогда – Бет-Вара, не иначе.

Не иначе...

Ииссах задремал незаметно для самого себя, пригретый утренним солнцем, и это было хорошо, ибо и зверь о четырех лапах устает, пройдя за две ночи такое расстояние. Дремал он славно, безмятежно, расслабив натруженные члены и впитывая, и вкушая сон, как усталый труженик в конце трудового дня неторопливо вкушает простую и бесхитростную, но обильную и сытную снедь. Мимо шел по своим делам работный люд – сначала редким человеком, потом почаше. Проснулся он резко, как от толчка, когда слуха его коснулось слово: «Ха-мабтил», произнесенное женским голосом. Ииссах по обыкновению какое-то время пребывал в том же положении, не подавая виду, что бодрствует.

¹ Хима – у иудеев Большая Медведица.

- И-и, сестра, куда же еще. Страх Господень чист.
- Аминь.
- А твой...
- Ты...
- Ох...
- Ах, не говори...

Разговор стихал, мельчая и дробясь, словно ручей, уходя в мелкие камушки и песок своего, нутряного, женского. Ииссах открыл глаза.

Самаритянки. Линялые цветастые одежды, не могущие скрыть заплат и прорех. Огрубелые крестьянские руки. Изуродованная частыми родами плоть. Ввалившиеся щеки. Заострившиеся носы. И запах – неистребимый запах нищеты. Он пошевелился. Разговор дрогнул и враз иссяк. Женщины покосились на него и, прикрыв лица, торопливо засеменяли прочь. Он сплюнул в воду.

Трудно сказать, что было ему более ненавистно в людях – беспросветная нищета или чрезмерное богатство. Он бы и сам себе не ответил. Скорее всего,

Довольно.

одинаково, потому как питались они

общим корнем – сухим, как уголья
Довольно!

в костре, пониманием,

что, изо всех сил стремясь уйти от одного, он никогда не достигнет второго.

Плевков в воду. Вода. Чего только в ней нет. Грязь. Грех. Она смывает грех? Ха-мабтил смывает грех. Ха-мабтил смывает грех водой. Все грехи – в воду. Все грехи? Всех людей?

Он склонился к воде, черпнул воды ковшиком ладони и зачарованно смотрел, как она тонкой прозрачной струйкой торопится обратно.

Как же она не сорвется в крик? Не вспухнет гнойной раной? Не польхнет костром боли? Не взорвется взрывом смрадного жара?

Ха-мабтил?

Пора.

Ииссах вытер ладонь об одежду и, вставая от воды, по привычке кинул стремительный взгляд через плечо.

Так и есть.

Тоже голь перекатная. Накидка – одно название.

Ииссах досадливо потрянул головой и пошел в ту сторону, куда пошли самаритянки.

Есть ли в этой несчастной стране люди? Просто – люди, а не богачи и нищие?

Он подумал мимоходом, продолжая лениво тянуть нить мысли о богачах и нищих, что ему как-то не по себе. Какое-то беспокойство. Или непонятность – там, где быть ее не должно. Мелочь, с мушиную меру, но не нравилась она ему все больше. Потому что в нем никогда не было непонятности или беспокойства, сколько он себя помнил, – холодная ясность лезвия ножа. И он смотал мысль о богачах и бедняках и припрятал на потом, как недоеденный сыр, и ухватился за эту мелочь обеими руками, внимательно рассматривая со всех сторон.

Горлица? Нет. Каменное чрево. Нет, нет. Самаритянки. Самаритянки? Самаритянки – все грехи в воду – Ха-мабтил – нет.

И даже не святые слова

«Страх Господень чист»?

в устах тройной скверны, ибо это

были уста женщины, уста самаритянки и уста нищей,

Нет.

не являлись причиной.

Берег полого наклонился и изогнулся дугой, вбирая в себя кусты лещины, зеленоватые макушки камней, выступающие из темной воды, и неторопливый, почти незаметный глазу, томный ток реки, берущей здесь не удалю и не размахом, а мирной сытостью вола в стойле рачительного хозяина.

– ...Огнем неугасимым!

Ну и голос. Мурашки по коже.

Голод?

И люди – на противоположном берегу. Их немного – десятка два, три. Больше – было бы торжище, меньше – шайка злоумышленников. Впрочем, и единения между ними не было, ибо накидки самарян и сирийцев пестрели поодаль от белых и черных одежд иудеев. Стояли и стояли. Было и несколько пуришим, даже ради прихода сюда не снявших наперсников. И тоже – стояли и стояли. Белела одинокая накидка темнокожего египтянина. Торчал посох пастуха. Крутились мальчишки. Бегала от ноги к ноге приبلудная собака, осторожно принюхиваясь. Тут же, неподалеку, строго струились складки хламид нескольких эллинов, пришедших сюда из любопытства, для всех других праздного

Нет.

и лишь для них одних сугубо насущного, являющегося отцом премудрости.

Они все, оторопев, слушали человека, стоявшего по колени в воде. Он говорил им и не им – небу, земле, воде? – воде, которую принимал на ладони и подносил к лицу, всматриваясь – в тысячный раз? – устало и строго, и снова возвращал реке.

Ха-мабтил.

– Сотворите же

Это он.

Ииссах встал, остановленный хриплым, но зычным голосом и догадкой о мелкой непонятности в себе.

плод, достойный покаяния²!

Чужак. Рыжий. Нет.

Светлые волосы.

Он облегченно вздохнул, довольный тем, что даже в такой мелочи остался верен себе и нашел причину.

² Здесь и далее – Мф., 3, 7—10.

Я крещу вас в воде в покаяние,

В толпе произошло движение. Ха-мабтил
поднял глаза от мокрых ладоней своих, бережно их отряхивая,

но Идущий за мною сильнее меня.

и оглянулся.

Светловолосый незнакомец поравнялся с Иисахом. Иисах увидел краем глаза воздушное мелькание складок выдавшей виды накидки; невольное
Я первый,

чувство ревности

а не ты, пришлый.

кольнуло его,
и в воду они шагнули вместе. Он прибавил шагу, оттесняя чужака,
с мстительной радостью отмечая, что тот не ропщет, согласно
пристроившись за его плечом.

Так они шли, друг за другом,
И тогда ликование захлестнуло его – перед новым, неизведанным еще им действием,

невольно повторяя движения,

и он присвистнул неслышно и озорно, по-мальчишески,
и еще, уже требовательно,

одинаково погрузившись в воду сначала по колени,

с тою же, но теперь более полной мстительной радостью увидев,
как от кустов сорвался голубь и по пологой дуге прочертил воздух
к нему

потом по чресла,

и отпрянул к отливающей солнцем
голове, и подлетел снова, и снова отпрянул

потом по пояс, и вновь затем

и завис, трепеща, над ними обоими.

согласно и неотвратно
вырастая, все ближе, все ближе и ближе.

Толпа подалась и ахнула.

Ха-мабтил смотрел, не сводя глаз, смотрел на это красивое, точеное лицо с мягкой, слегка заостренной бородкой, со смутно узнаваемой линией рта, капризной линией рта, напоминающей о том времени, когда Ха-мабтил не был Ха-мабтилом, а был просто Иоханнаном, о мальчишеских драках и мертвых голубях,

Или горлицах?

не принесенных в жертву,

Нет, голубях.

а мертвых, мертвых,

Или горлицах?

капризной линией рта в бурых ржавых пятнах, и он, не Ха-мабтил, а он, Иоханнан, – он съезжился по-детски, тоскуя под грузом опрокинутой на него собственной жизни, когда рядом с красивым и точеным и порочным осознанием своей красоты надменным лицом появилось второе, сводящее с ума безнадежностью своей половины, нет, даже не безнадежностью своей половины сводящее с ума, а взглядом – внимательного, строгого, пытливого, не от этой земли, не от этой воды и не от этого неба вскормленного глаза второй половины лица.

И они согласно склонили выи перед ним, и ладони рук его одновременно вылили на их темена воду из реки, и, пока он пребывал в смятении, уста складно огласили привычные слова. И затем они оба вышли из воды – встречу толпе, а Иоханнан, Иоханнан-Ха-мабтил, остался, задумчиво рассматривая свои ладони, с которых продолжала каплями стекать вода крещения.

Итак, они вышли, оглядываемые десятками глаз в упор, встык, на излом, и доброхот из эллинов уже объяснял новообращенным, что теперь им обязательно – так полагается – надо пройти пост,

– Пост? – сказал Ииссах и облизал соленые губы. – Какой пост?

пост, четыре десятка восходов и закатов воздержания плоти и испытания ее искушающим постом,

– Да будет так, – сказал незнакомец и прошел сквозь толпу прочь от реки, туда, где за прибрежными камнями бурела выжженная солнцем земля и высились колючие травы, обозначая начало пустыни и конец могуществу человека.

ибо омытой от грехов душе надо
дать окрепнуть без воздействия земной скверны.

– Пост? – снова спросил Ииссах.

– Мы все объясним, – говорили ему.

– Расскажем.

– Оставайся с нами.

– Красавчик! – кричали ему.

Ииссах глянул поверх голов. Чужак уже скрылся – будто и не было его вовсе.

- Чудо, чудо!
- Пост, – повторил Ииссах.
- Ноздри его затрепетали, глаза сузились.
- Как он сказал?*
- Да будет так, – сказал Ииссах и пошел туда же – в пустыню.
- Чудо, чудо! – восклицали вслед.
- Вы видели? Все видели?
- Дух Божий.
- Знак.
- Знамение! Знамение!
- Истинно, – подтвердил статный эллин, в подтверждение своих слов кивая крупной доггрой головой, – истинно, то было небесное знамение, и я видел его собственными глазами.
- Слушайте, слушайте!
- Но я видел знамение над двумя, – продолжал эллин, – а мы все ждем прихода Одного.
- Вот он и был Им!
- Кто?
- Как кто? Ты разве не видел? Статный, смуглый, красивый...
- Слушай, Израиль! Да, да!
- Нет, светлый³.
- Что? Урод!
- Сам ты урод! Рыжий.
- Слушайте, просто светлый!
- Темный.
- Светлый.
- Темный.
- Сам ты темный! Просто смуглый.
- Ужас! Ужас! Такое говорить.
- Светлый.
- Он был не менее красив, чем твой смуглый.
- Светлый.
- Послушайте, что он говорит! Урод, лопни мои глаза.
- Святой.
- Они могут лопнуть, твои глаза, потому что ни на что не годны. А я своими глазами видел и сейчас могу подтвердить, что он был такой же красивый, как тот, смуглый.
- Равви! – позвал чей-то голос.
- И толпа обернулась в сторону забытого Ха-мабтила.
- Скажи нам, кто был Тот, Кто пришел?
- Ха-мабтил стоял, враз постаревший на добрый десяток лет, стоял молча, раскачиваясь, словно от мучающей его боли.
- И он ли тот, кого мы ждали?
- Стоял и стоял.
- И пошел прочь, привычно расталкивая воду коленями.

* * *

Когда затихли – нет, не звуки, потому что пришедшая и ушедшая смерть не сопровождалась звуками, – тонкие колебания воздуха и перестало сводить от страха мышцы, из россыпи

³ См. об этом у Оригена, а также в недавно найденном Коптском Евангелии.

ребристых камней выбрался крупный головастый щенок на разъезжающихся мягких лапах, с квадратной мордочкой и тонким крысиным хвостом, молча взобрался на плоский камень и огляделся. Слезающиеся от пережитого ужаса глаза его сразу выхватили из привычной картины мира непорядок в виде разбретающихся кто куда овец. Еще хуже была недвижимая старая сука с неестественной повернутой головой и оскаленными перед смертью зубами. Вокруг нее чернели комочки раздавленной плоти – все, что осталось от его братьев и сестер. Щенок повторно задохнулся от ужаса, но не издал ни звука, еще и потому, что горло его все еще было сведено судорогой страха. Хуже всего во всем этом был человек, сидящий на камне спиной к щенку. Человек, к ногам которого прижималась старая сука, когда была жива. Человек, в руках которого замолкали бьющиеся в припадке овцы. Человек, бывший верховным судьей для малых тварей на этой земле.

Бог.

А сейчас бог сидел спиной к щенку, раскачиваясь из стороны в сторону и как будто протяжно что-то напевая. Слезающимся глазам щенка даже показалось, что бог раздваивается, и один из двух богов что-то выговаривает другому, а тот виновато отвечает. Но, наверное, это была такая заунывная песня бога. В богах многое непонятно, иначе какие же это боги?

Щенок вздохнул и начал свой долгий путь через камни к богу.

Одной рукой бог водил непонятно перед собой, как будто снимал что-то с лица, потом опускал руку и стряхивал с пальцев казавшиеся черными в быстро угасающем дне капли. Это было очень страшно, но щенок старался не думать об этом и не смотреть на эти капли. Все его крохотное существо было пронизано одним стремлением – жить. А жить можно было, только оказавшись рядом с богом. Поэтому он лез и лез вперед, спотыкаясь на подгибающихся лапах и падая с камней, но по-прежнему не издавая ни звука, пока не подобрался к богу с противоположной от страшных капель стороны и ткнулся богу в ступню.

Заунывные звуки прекратились. А потом правая рука бога потянулась к щенку, пальцы ощупали его, и мозолистая и тяжелая ладонь накрыла его с головой.

– Лобастый! – сказал бог. – Выжил, маленький!

И тогда напряжение отпустило щенка; он весь задрожал и заскулил, норовя забраться повыше на ступню бога.

– Поплачь, поплачь, – сказал бог. – Это хорошо.

Потом он пошарил вокруг себя, отшвырнул пустой кувшин, сказав себе при этом что-то не очень ласковое, нашупал кувшин поменьше, замотанный тряпицей, поставил рядом с собой между колен, опустил в него руку и поднес сложенную горстью ладонь к мордочке щенка. Почувствовав запах молока, щенок ткнулся носом и жадно залакал.

– Ты будешь первый пес, возвращенный овечьей матерью, – сказал бог, протягивая ему следующую горсть из кувшина.

Щенок не слушал. Он насыщался. Бог был рядом. Значит, он будет жить.

Бог попеременно погружал одну руку в кувшин, а другой продолжал утирать кровь с лица и стряхивать в сторону от себя. Потом, когда щенок привалился к его ступне и заснул, округлившийся от сытости, ему показалось, что ток крови уменьшился. Тогда он встал, уверенно, как будто зряче, нашел ручей, омыл свое лицо и соорудил из тряпицы подобие повязки на глаза. Стемнело, но это не было помехой простым, заученным за годы и годы движениям.

Он нашел свой нож – там же, где разделявал ягненка, и палку – знак пастушеской власти. Потом постоял немного и почему-то рассмеялся.

– Лобастый! – тихо позвал он.

Шагнул на недовольное кряхтенье, подобрал щенка и сунул за пазуху.

И пошел, подняв невидящее лицо к небу, размеренными шагами, постукивая палкой по камням, неся щенка за пазухой и кувшин с овечьим молоком в руке, на запад.

К людям.

* * *

Там же два града представил он ясновидящих народов:
В первом, прекрасно устроенном, браки и пиршества зрелись.
Там невест из чертогов, светильников ярких при блеске,
Брачных песен при кликах, по стогнам градским провожают.
Юноши хорами в плясках кружатся⁴...

Мраморные полы и ионические колонны самим Юпитером предназначены для того, чтобы навевать прохладу в жаркий день. Если подойти к окну...

К окну? Фи. Не хочется.

И все же, если подойти к окну,

*то не увидишь там ни Капитолия, ни
Палатина, ПUTEОЛ, ни даже Затиберья, зловоннее которого, если
быть объективным, не найти во всей империи.*

то можно признать, что от иудейского
солнца оно спасает не хуже, чем от римского.

– Я слушаю.

Далее много народа толпится на торжище; шумный...

– Постой. Вернись на две строфы назад. Как там? Гиалды-Плеяды?

Там представил он землю, представил и небо, и море...

– Дальше.

Славный голосок.

Видны в их сонме Плеяды, Гиалды и мощь Ориона...

– Дальше назад, а не вперед. Ты невнимательна.

Так произнесши, оставил ее и к мехам приступил он.

А ты придирчив и капризен. Откуда она могла знать, назад тебе угодно или вперед?

Она женщина и она рабыня. Она юна. Я, хотя и не молод, впрочем, оставим это. Во всяком случае, по собственным признаниям рабов, я слышу справедливым и «добрым» – так у них это называется – господином,

они еще говорят «игемон», но мне это не нравится,
поэтому я вправо...

потому

что просто не нравится.

А что скажет на это твой друг Флакк?

Старина Флакк? Или сенатор Гай Публий Флакк? Или старый сластолюбец Флакк?

...Сам он в огонь распыхавшийся медь некрушимую ввергнул,
Олово бросил, серебро, драгоценное золото; и после...

– Вот. Ага! Именно.

⁴ Здесь и далее – Гомер. Илиада. Песнь восемнадцатая. Изготовление оружия.

Темноволосая девушка-рабыня в простой тунике, с цветком жасмина в волосах, вздрогнула и замолчала.

– Уж эти мне эллины!

Неудивительно, что их бьют все, кому не лень. Попробовал бы римский солдат прошагать весь день с таким щитом за плечами. Интересно, был бы он способен после этого махать мечом? Золото, серебро... Пустить всю казну государства на щиты армии. Забавно. Армия – со щитом, империя – на щите. Запомнить.

Он поднялся на ноги, прошел, волоча за собой сползающую тогу, тучный, потный, одышливый, по залу мимо бесстрастных мраморных бюстов, остановился возле последнего.

Щит, удобный, легкий щит из прочной воловьей шкуры! Тяжелый меч и легкий щит сделали римлянина завоевателем!

Он надул щеки.

Еще забавней было бы обратиться к каприйскому затворнику⁵ с официальным предложением перевооружить римскую армию – со ссылками на Гомера. Плешивец без памяти от слепца⁶ – это по его милости каждый сановник в империи обязан любить эллинскую поэзию, – он бы оценил...

Бюст холодно молчал.

Он вздохнул.

Нет, не выйдет. Не выйдет шутки.

Макрод.

Он поскукчел, вернулся назад, негромко бросив через плечо:

– Дальше.

– С какого места, мой господин? – пролепетала рабыня.

Он поднял брови:

– С того, с какого я вернул тебя

Юноши⁷...

– Нет. Не юноши. Торжище.

Это возраст.

...шумный

Спор там поднялся; спорили два человека о пене,

Мзде за убийство...

Спор шумный. Жены почтенные. Светильники яркие. Копье длиннотенное. Не в этом ли тайна? Герой багряноликий.

Старина Флакк в этом месте сказал бы: краснорожий. И долго хихикал бы, потирая руки, довольный.

Вестник

звонкоголосый. Муж многоопытный. Воин бранчливый.

Прокуратор справедливый. Бог сребролукий.

Сребролукий, это же надо так вообразить. Нет, нам еще

учиться и учиться. Вергилий? М-м, как там? «Мясо

срезают с костей, взрезают утробу, и туши рубят

⁵ Имеется в виду император Тиберий, последние годы жизни проведший на острове Капри, оставив дела своему фавориту, вольноотпущеннику из рабов Макроду.

⁶ По общепринятой, хотя и не доказанной строго версии Гомер был слепым от рождения.

⁷ Здесь и далее – Гомер, Илиада, XVIII.

в куски...»⁸ Бр-р... Жуть. Мясная лавка. Одно действие.
Никакой красоты.

...и один за другим свой суд произносят.
В круге пред ними лежат два таланта чистого золота...

Новенькая.
– Как тебя зовут?
– Левкайя, мой господин.
– Да. Хорошо. Продолжай.
Он позвонил в колокольчик.
– Я же сказал – продолжай.

Город другой облежали две сильные рати народов...

Два таланта чистого золота. Неплохо они жили, эти бранчливые герои... Посмотреть на нынешних эллинов: жадны, трусливы, ленивы. Потомки Геракла.

Вошел неспешный, но неплохо соображающий Приск, управляющий делами, бритый, по египетской моде, наголо, со своей привычкой смотреть вприщур, неся кипу полученных за день сообщений, за ним – безликий и безымянный писец. Быстро, споро заняли свои места, по раз и навсегда установленному распорядку.

Вид их прекрасен, в доспехах величествен, сущие боги!

– Донесение от эдила, – ровным, скучным голосом начал Приск. – Драка солдат Иоппийского гарнизона с местными жителями. Виновные не установлены. Каждая сторона защищает своих.

Рыщут и Злоба, и Смута, и страшная Смерть между ними.

– Значит, каждая сторона должна понести наказание. Местных бичевать, как обычно. Солдат лишить месячного жалованья.

Старина Флакк не смог бы придраться.

– От городского головы Тира прошение на партию мрамора.

– Опять?

– На постройку арки в честь Юпитера Громовержца,

– Пройдоха.

со статуей

на вершине ее высотой в двенадцать локтей и лицом
Божественного.

– Полгода назад он тоже просил и тоже мрамор – на постройку терм. Что он, ест этот мрамор?

И где эти термы?

Не горячись. Тир. Ворота в Сирию. Он там презанятно мыслит, этот человечек.

– Кто он?

– Апулиец.

⁸ Вергилий. Энеида, Книга первая, 210.

Хм. Дальше Винчи своих нет⁹. Он, конечно, пройдоха, но пройдоха нужный.

– Дать. Но скупое. Скупое, но любезно. Недостающее пусть возьмет от терм. Шутка. Ну, ты смотри. Распиши, сам знаешь как. Покудрявей.

Властелин между ними, безмолвно,
С палицей в длани, стоит на бразде и душой веселится.

Свежий ветер повеял от входа, но быстро присмирел и только колыхнул прозрачные виссоновые завесы.

Худа, даже костлява. Но в этом что-то есть. Слепец бы тут разошелся. Хотя и я чувствую. Если бы не эти стопы, ударные и безударные. Вот, я вижу, что колышутся складки занавеса за мраморной колонной, и это... Как если бы. Девушка. Как бы. Пух Эола. В очах. К очам. К Манам. Но красиво.

Зря моя драгоценная сменила занавесы. Раньше было лучше. Солидно, спокойно. Занавес! Ладно. Мода. Пух Эола. Занавеска.

– От Санхедрина жалоба на бывшего служку из ессеев, возмущающего народ лживыми пророчествами о пришедшем Мессии.

Следом за стадом и пастыри идут, четыре, златые,
И за ними следуют девять псов быстроногих.
Два густогривые льва на передних волов нападают,
Тяжко мычащего ловят быка; и ужасно ревет он,
Львами влекомый...

– Как тебя зовут.
– Левкайя, мой господин.
– Да.

Львы повалили его и, сорвавши огромную кожу,
Черную кровь и утробу глотают...

– Ессеи.

– Да, мой господин, – подтвердил Приск и добавил: – Они откололись от хасидов.

– Хасиды.

– Да, мой господин, последователи законников и апокалиптиков.

О боги. И вся эта премудрость из-за ослиной головы.

– Мессия?

– Да, мой господин. Говорят, что Он уже пришел.

– А почему мы должны ловить этого... отколовшегося хасея?

– Он пошел против веры, следовательно, он преступник, следовательно, им должна заниматься мирская власть.

Ветер-задира. Ветер задирает тунику.

А ножки-то отнюдь не худые.

Я напишу тебе, дружище Флакк, презанятое письмо.

– У них нет мирской власти? В этой несчастной стране людей нет. Все служители Бога. И теперь доблестные римские легионеры должны, задрвав туники, гоняться по камням за одним слабоумным на почве веры иудеев?

Хорошо.

⁹ Винчи – селение на границе первого племенного объединения латинов вокруг Рима, отделяющее «своих» от «чужих». В дальнейшем все завоеванные римлянами земли, находящиеся дальше Винчи, назывались *pro Vinci* (т. е. «то, что за Винчи»), отсюда – «провинция».

– У них есть Четверовластник. Делать ему нечего. Он и так выпил все вино в Иудее на два урожая вперед.

Славно.

Что скажешь, старина Флакк?

Вот пусть он и займется своим же подданным.

...напрасно трудятся

Пастыри львов испугать, быстроногих псов подстрекая.

– От легата Второго легиона...

– Гай? Лонгин?

– Да, мой господин.

– Я им доволен. Ну?

– Ветераны легиона просят выплатить им положенную еще Божественным Цезарем надбавку за выслугу лет.

Какие грамотные у нас ветераны. Божественный Цезарь мог себе позволить многое. Не то, что...

Что – что?

Виноград чудесный. Что значит много солнца.

– Они ждут выплаты, чтобы уйти в отставку. Здесь, – Приск зашуршал свитком, – тридцать четыре имени. Квинтилий Лупинилл, Гиппарх, Бос, Пантера, Гай Мускилий...

– Гай Мускилий?

Он засмеялся. Сначала про себя, а потом вольно, от души, во весь голос, все больше заходясь в хохоте при виде прищура глаз растерянного Приска.

Довольно. Одышка.

Он поскущел. Кинул в рот еще пару виноградин, чтобы освежить дыхание.

– Тут у тебя прямо бестиарий¹⁰. Кого только не вскормила бедная волчица! И этот... как его... твой Гиппарх.

– Повелитель коней.

– Это что? Кентавр получается.

– Да, мой повелитель, – согласился Авл.

Купа селян окружает пленительный хор и сердечно

Им восхищается...

Один ветеран стоит трех-пяти новобранцев. Да еще из Второго, бывшего Десятого, прошедшего Германию.

– За какой срок им там что-то полагается?

– От пяти до восьми лет, мой господин.

– Ну, пару лет еще потерпят. Эмилию Лонгину отпиши, что я им доволен, но глаз с него не спускаю. Не ребенок, сообразит, что сказать своему зверинцу.

Он вяло похлопал ладонью о ладонь.

– Довольно. Домоуправителя ко мне. Писца оставь.

Там и ужасную силу представил реки Океана,

Коим подвергшим он ободом щит окружил велелепный.

Приск вышел, забрав с собой свитки, и мгновение спустя впусив худого суетливого домоуправителя с печатью невероятной озабоченности на скорбном лице.

– Подойди сюда, мой Амфион. Так. Скажи мне, Амфион, кто это?

¹⁰ Бестиарий (лат.) – зверинец. Лупинилл (лат.) – «волчонок», Гиппарх (гр.) – «повелитель коней», Бос (лат.) – «вепрь, кабан», Мускилий (лат.) – букв. «сын маленькой мухи, мушки».

Амфион растерянно перевел взгляд с хозяина на рабыню и обратно. Чтение оборвалось.
– Это твоя новая рабыня, мой господин, – сказал он осторожно.
– Негодный твой товар, Амфион, – он незаметно подмигнул слуге.
Амфион побледнел, пытаясь понять сложную мысль хозяина.
– Это... мой господин... – начал он, помогая себе руками. – Гречанка, юница, девственница... Знаток поэзии и музыки...
Зря подмигивал. Он поморщился.
Раб – это вещь, умеющая говорить.
– Я буду перечислять, а ты, Амфион, загибай пальцы. Это ты умеешь?
– Да, мой господин.
– Великолепно.
Он отщипнул еще одну виноградину и поднялся.
– Она не может найти по моей просьбе нужное место из стиха...
– Мой господин! – девушка задрожала. – Это не так.
– Вот, – удовлетворенно сказал он, подняв пухлый палец. – Она дерзка... Она прерывает чтение стихов без позволения своего господина...
Достаточно? Нет, еще что-нибудь.
Знаток поэзии? Славно.
– Да будет тебе известно, мой Амфион, что гекзаметр представляет собой шестистопный дактиль с хореическим окончанием.
Видел бы он сейчас себя со стороны. Сейчас это – вещь бессловесная.

Таким образом, он распадается на несимметричные
половины, по три стопы в каждой, с неравным
чередованием ударных и безударных слогов, так что
на границе их ударные стопы

А сейчас – телега, или вещь немая.

соприкасаются.

Дальше, хоть забери меня Маны, не помню. Хотя нет... Как это...

Законы же
декламации гласят, что перед ударным слогом
необходимо сделать паузу для того, чтобы набрать
в грудь

Насчет груди – тонко, тонко. Учись, старина Флакк!

воздух – для выразительного произнесения
следующих за ударным безударных стоп.

Его даже жалко. Клянусь Марсом, или нет, клянусь сребролуким Аполлоном, его сейчас хватит удар от перенапряжения.

Двойная ударная
стопа, мой Амфион, требует двойной паузы, верно?
Она же не делает этого и прочитывает всю строку

на одном дыхании.

– Пусть выслушает меня мой господин... – рабыня прижала обнаженные руки к груди и протестующе затрясла головой.

Жасмин упал на мраморный пол.

– Сколько получилось, мой Амфион?

– Четыре, мой господин, – Амфион для верности поднял костлявый кулак с отставленным большим пальцем.

– Четыре. Это значит, – он вздохнул, – четыре удара розгами.

Девушка вскрикнула и повернулась к колонне, закрыв лицо руками.

Ах, какие трогательные лопатки.

Нет, дурак не понимает, мигай не мигай.

– Или, – сказал он внушительно, – или продажа. Ты слышишь, Амфион?

– Да, мой господин.

– Нам не нужен плохой товар. Как ее зовут.

– Лев... Левкайя, мой...

– Да. Так вот, и она, как вы все, должна знать, что я строг, но справедлив. И при своем домоправителе я говорю: розги или продажа. А слово свое держать я умею.

Не перестарался?

В самый раз.

Наступило молчание. Неслышно вздрагивали острые лопатки под прозрачной туникой, словно пойманная птица пыталась взлететь от мраморной колонны.

Он подошел совсем близко, встал так, чтобы загородить спиной бестолкового Амфиона.

– Правда, – сказал он вкрадчиво, – я не только строг и справедлив, но и милосерд. И в моих силах облегчить тебе наказание, ибо в этом случае розги будут в руках у меня. А я не люблю наказывать маленьких красивых девочек. Я

Одышка,

СЛИШКОМ

совершенно ненужная одышка.

МЯГОК С НИМИ.

Птица перестала трепетать крыльями.

Успокоилась.

Он вернулся к ложу, отщипнул виноградину, кинул в рот, покатал языком.

– Ешь, – сказал он радушно. – Фрукты. Устала после стихов.

Молчание.

Бывает.

У животных это бывает. От страха некоторые из них впадают в оцепенение.

Он подождал еще немного, барабаня по столу.

– Ну? – сказал он наконец.

О боги, как же ее зовут?

– Ты выбрала?

– Да, мой господин, – сказала она еле слышно.

– Говори, говори, я слушаю.

– Продай меня, мой господин, – сказала она еле слышно.

Он машинально раздавил виноградину зубами и с отвращением сплюнул.

Экая кислятина.

– Ну что ж, – сказал он, – ты сама

Посмейся, Флакк, посмейся.

выбрала свою судьбу.

Ты старая лысая обезьяна.

Амфион, уведи ее.

Он прошелся по мраморным плитам, успокаиваясь. Заметил писца, старательно перебирающего свои рукописи.

– Продолжим, – сказал он. – «К Флакку».

И вернулся на место.

Уж того, что я объективен, ты не можешь отрицать.

– Худшим наказанием для хозяина является неблагодарный раб.

Подумал.

– Что? Не пиши этого.

Макрон.

– Пиши: из всех пороков человеческих наихудшим является неблагодарность. Написал?

– ... Неблагодарность. Да, мой господин.

Давай отдохнем, старина.

Обезьяна. Но старая.

– Убери «Флакка». Приготовь ежедневник. Так.

Вздыхнул.

– День прошел без происшествий. Читал Гомера. Занимался обычными государственными делами. Продал рабыню.

Подумал.

– Нет, про рабыню не надо. Достаточно.

И взмахом ладони удалил писца.

* * *

От Нового города через Предместье к Верхнему городу шла нищенка. Шла тяжело, останавливаясь поминутно и переводя дух не только из-за ведущей вверх, к Сиону, дороги, но и потому что было ей худо.

Мало ли нищенок в славном, богоизбранном Иевусе!

Но эта отличалась от прочих.

Во-первых, она была не местная. Но внимательный наблюдатель не отнес бы ее ни к самарянке, ибо не было на ней простой синей или белой накидки со скромной вышивкой, ни к сирийке при отсутствии покрывала на голове и яркой безрукавки, ни к эллинке, обычно одетой в платье в талию или сарафан с передником и закрывающей голову платком. На ней же была голубая когда-то юбка, сейчас вылинявшая от частых стирок, и голубая же и так же вылинявшая накидка. И никаких украшений, если не считать блеклого высохшего цветка, подколотого простой медной булавкой у левого плеча.

Во-вторых, она не предлагала погадать за деньги или просто кусок хлеба, не рассказывала душераздирающих историй о семерых детях, умирающих от голода и болезней, не читала стихи, не пела на заказ и не танцевала. Она даже не предлагала себя встречным мужчинам, хотя внимательный наблюдатель сделал бы вывод, что до того, как ее коснулась нужда, она была красавицей. Она просто говорила:

– Дай мне хлеба, добрый человек.

И, получив кусок, благодарила, называя подателя воистину добрым человеком. А того, кто отказывал ей, тоже благодарила, хотя добрым человеком больше не называла.

Но чаще она спрашивала о чудотворце, который ходит среди людей и лечит их от разных болезней, лечит бескорыстно, не беря за это ни лепты. Над ней смеялись, ибо считали, что нужда ослабила ее рассудок, и она хочет посредством чуда вернуть себе молодость, красоту, а с ними и достаток. Ее ругали, грозя побить камнями за кощунственные речи в священном городе иудеев. Но обычно презрительно отворачивались и проходили мимо молча.

Чтобы потом обернуться и посмотреть ей вслед.

Что-то в ней было, западающее в душу. Что-то было в ней, отличающее от несчетных других нищенок – с ввалившимися щеками, заострившимся носом, сбитыми в кровь босыми ногами и огрубелыми от работы и холодной воды руками.

И лишь пройдя несколько шагов, прохожий вдруг осознал: глаза!

Глаза, в которых светилась надежда.

И тогда прохожий останавливался и оборачивался, чтобы посмотреть ей вслед.

Но в этот раз то был не прохожий, так что останавливаться ему не пришлось. Ибо то был слепец, сидящий у рыночной стены вместе со смышленным лобастым щенком, которого поводырем назвать было трудно. Щенок службу нес исправно: потягивал на одних, принимался к другим, а в случае возможной, по его малому разумению, опасности прятался под руку слепца – опаленную солнцем костистую руку с крупной, как лопата, кистью. Предполагаемый наблюдатель обратил бы внимание на то, что щенок не виляет хвостом, не ластится и не выставляет брюшко встречным, то есть не выказывает приязни никому. А вот при беседе хозяина своего с нищенкой щенок повел себя странно: он не полез прятаться под руку, а застыл столбиком, как стоят в пустыне в отдалении караванной тропы суслики, всем видом своим показывая крайнюю степень любопытства.

Тому же предполагаемому наблюдателю было бы непонятно, как произошла их встреча. Потому что только что вот нищенка вышла к рыночной стене, привычно подняла ладони, а потом, словно обжегшись обо что-то, повернулась в сторону слепца. Слепец же, сидящий к ней спиной, начал разворачиваться к ней. Еще два удара сердца, и вот – они беседуют о чем-то, словно знали друг друга всю жизнь.

Щенок беседы их не понимал, но знал точно, что нищенка о чем-то просит его хозяина, а хозяин не соглашается и даже спорит. Голоса их действовали на него умиротворяющее; он ощущал себя словно у теплого брюха матери, окруженный братьями и сестрами. Но потом беседа подошла к концу, и хозяин, крякнув с сожалением, поднялся на ноги и стал показывать нищенке дорогу, уверенно, словно зрячий, поднимая руку к солнцу и отклоняя ее в ту сторону, где оно будет на закате. Потом он вручил нищенке узелок с хлебом и овечьим пахучим сыром и на этот раз остался победителем в новом споре. Наконец, она поцеловала его черную костлявую руку, а он поцеловал ее в лоб, и нищенка ушла, не оглянувшись ни разу.

Щенок побежал за ней, остановился, сделал круг вокруг хозяина, сел, подняв одну лапу и прислушиваясь. Потом подошел к хозяину и ткнулся носом в его ладонь. Ладонь сохранила запах нищенки – удивительный запах моря и горного ветра.

Ладонь хозяина легла на голову щенка.

– Вот так, Лобастый, – сказал хозяин и повторил: – Вот так.

Щенок застыл под его ладонью, боясь пошевелиться.

Хозяин повернул голову с незрячими глазами в ту сторону, куда пошла нищенка.

– Ты Рада, – снова сказал он. – Только я не рад, совсем не рад.

И вздохнул.

Нищенка же шла споро, не всякому мужчине угнаться, а отдыхала несравненно меньше, так что обычные пять дней пути она преодолела в три, и замедлила шаг, только когда повеяло прохладой с вершины Фавора. Она замедляла шаг еще несколько раз, оглядываясь, словно с сожалением, на плавающий в знойной дымке горизонт, потом снова подхватывала узелок и шла дальше, к белеющим стенам, обозначающим границу между людьми и всеми осталь-

ными. Судя по тому, как неохотно встречные отвечали на ее вопросы, как торопливо уходили прочь женщины, словно вспомнившие о срочных делах, и как подозрительно поджимали губы мужчины, каменя лицом, границу эту нищенка не пересекла, хотя и шла уже среди заборов и стен. За ней увязались вездесущие мальчишки, обозвав ее для начала «самарянской». Молчание ожесточает; затем последовали «нищобродка безродная» и «побирушка приبلудная». Самый же из них отчаянный подбежал и дернул ее за рукав платья. Тогда только нищенка обернулась к мальчишкам лицом, выражающим недоумение и боль. Но не слабость, ибо, встретившись с ее глазами взглядом, мальчишки теряли желание придумывать и выкрикивать обидные слова. Потеря обидна; мальчишки перешли поэтому к швырянию камней издали, но удивительное дело – камни пролетали мимо, далеко от нищенки, что бесило самых настырных, а самых метких приводило в ярость. Нищенка поравнялась с десятком овец, которых загоняла в ворота с распахнутыми створками и со старой, ушедшей в землю скамьей у входа девочка с хворостиной в руках. Камни попали в овец, и начался переполох. Девочка бросилась во двор, крича:

– Бабушка! Бабушка!

Мальчишки разбежались. Обиженные овцы успокоились и сами потянулись в ворота. Оттуда выглянула нестарая еще смуглая женщина, оглядела нищенку и улыбнулась.

– Цела, девочка?

Нищенка почувствовала огромную усталость.

– Ты нездешняя, – продолжала женщина, придерживая высунувшуюся из-за ее бедра девочку с хворостиной в руке, – и не самаритянка, и не сирийка. Даже на элинку не похожа.

– Не похожа, не похожа, – подхватила девочка.

– Из далеких краев, – продолжала женщина. – К нам или дальше куда?

– Не знаю, – сказала нищенка хрипло.

– Суламитт, принеси госте воды, – строго сказала девочке женщина и, дождавшись, когда та уйдет, продолжила: – Беда тебя гонит или радость?

– Любовь, – прошептала нищенка.

– Это – великая радость, если она разделенная, – сказала женщина, – и большая беда, если безответная.

Она ждала продолжения, но его не последовало.

Вернулась Суламитт с чашей воды и подала нищенке. Та взяла чашу, долго смотрела на нее, поворачивая из стороны в сторону и шевеля беззвучно губами, потом отпила и с поклоном вернула.

– Ты не скажешь, кто он? – спросила женщина. – Может быть, я могу помочь? Или он тоже нездешний?

– Нездешний, – сказал нищенка.

– Извини, – вздохнула женщина, – но в наших краях таких нет. Чужаки запоминаются. Ты опиши его. Какой он?

– Он? – переспросила нищенка и словно бы удивленно посмотрела на смуглую женщину. – Он... – она задумалась. – Он выше неба, он ярче солнца, он...

– Ты описала его душу, – улыбнулась женщина.

– Он светлый и он красивый, – сказала нищенка и внезапно заплакала.

Она не закрывала лицо, не отворачивалась. Она стояла, прямо глядя перед собой, только по лицу ее горошинами бежали слезы, оставляя на щеках светлые дорожки.

Женщина привлекла ее к себе и мягко склонила ее голову себе на плечо.

– Милая, – сказала она, – хорошая... Сильно же ты его любишь.

Нищенка подняла голову.

– У него родинка на правом плече, – сказала она.

Женщина зажмурилась, словно от яркого света. Лицо ее посерело.

– Что ты сказала? – наконец спросила она.

– У него родинка на правом плече.

Женщина долго молчала. Потом, улыбаясь не к месту, осторожно погладила нищенку по плечу.

– Ягненок? – глаза ее были обращены внутрь, словно она разговаривала сама с собой. – Светленький, о мой Иошаат? Ягненок?

Нищенка осторожно сняла руку женщины с плеча и сделала шаг назад.

– Он не ягненок, – тихо сказала она.

Женщина внезапно вскинула на нее глаза и схватила за руку.

– Ты ошиблась, – сказал она. – У него родинка на левом плече.

Нищенка сделала еще шаг назад.

– Да, – сказала она.

– На левом, ты слышишь, на левом! – женщина почти кричала.

Испуганная Суламитт потянула ее за руку.

– Бабушка, пойдём!

– Да, – сказала нищенка, – на левом. Я ошиблась. А теперь я пойду, если ты не против.

Женщина вздохнула.

– Люди говорят, что видели его на берегах Ередана, – сказала она. – Иди вот так, по этой дороге, – она показала рукой, – обойди Фавор и иди дальше, пока дорога эта не раздвоится. Тут как раз Афула, селение в десяток домов и колодцем. Направо будет Эль-Леджун, налево – Наин. Но тебе надо прямо, туда, где Безан, а он-то как раз на берегу Ередана. Это самая короткая дорога. Запомнишь?

– Запомню, – сказала нищенка.

– Безан. Прямо, никуда не сворачивая.

– Благодарю тебя, – сказала нищенка и торопливо пошла прочь.

– Бабушка, бабушка, какая у ягненка родинка на плече? – спросила Суламитт.

– Да, да, – женщина кивала, не слыша Суламитт.

– Бабушка, ты, что ли, не слышишь?

– Да, да.

Женщина внезапно бросилась по дороге, добежала до угла дома, приставила ладонь ко лбу.

Никого.

Она вернулась к Суламитт.

– А почему ты говорила с дедушкой Иошаатом? Ведь он давно умер!

Женщина взяла девочку за руку.

– Пойдем в дом.

И, закрывая за собой ворота, она добавила шепотом:

– Он умер только один раз.

* * *

Зачем?

Подходил к концу срок, отведенный ему в пустыне. Завтра. Завтра.

Пустыня. Она встретила его не гостеприимно, это верно, но и не враждебно. Она встретила его равнодушно, и это было хорошо. Она приняла его – как необходимую данность, как результат сцепления неисчислимого множества случайностей, из которых соткан этот мир, как приняла бы пугливую серну, оставляющую за собой прерывистую цепочку следов от куста к кусту, неподвижную змею на плоском камне, неподвижностью своею опровергающую жалкую мудрость двуногих о том, что жизнь заключается в движении, ибо вживается, живет и выжи-

вает в ней не тот, кто движется, а тот, кто не совершает лишнего движения, цена которому и равняется жизни, или ковер из диких тюльпанов, устилающий землю до горизонта весной, когда случается обильная осадками зима, – чтобы так же равнодушно летом предоставить полуденному ветру вымести почерневшие от зноя цветочные трупки.

И он принял ее – земное, от мира идущее бытие; принял привычно и терпеливо. Он пропускал пустыню через себя, впитывал ее запахи подрагивающими ноздрями, глотал раскаленный воздух медленными, в три приема, вдохами, смаковал вечернюю прохладу и утреннюю свежесть и избегал низин во время ночлега, потому что туда раньше пробиралась ледяная сырость и позже уходила. И это был от века идущий способ обретения опоры и смысла в этом мире – смирения и сродства с ним. И тогда не нога огрубелой подошвой ступала на кварцевую россыпь, а окружающие холмы и скалы разворачивались таким образом, чтобы подставить под ногу именно эту россыпь – здесь и сейчас, и не глаз обозревал окрестности, а весь горизонт стучался и съезживался, чтобы сияющей вспышкой преломиться в хрусталике, спрятанном за выгоревшей от солнца синевой зрачка, и тогда серна не поднимала головы от искрящих кристаллов соли и только пряданьем ушей сообщала, что ведает о нем, и тогда плоского камня вполне хватало двоим, чтобы переждать на нем полуденный зной, двоим – человеку и змее, не мешая друг другу.

Но берегись, человек! Ибо горе тебе, если, сроднившись с пустыней, ты позабудешь о своем человеческом начале. Пустыня сначала разведет костер в твоём горле, вздует веревками жилы на истощенном теле, расплавит твой мозг, а потом выпьет тебя, как выпивает паук приземленную тенетами муху. Что`ты, что`пустыня? Знай это, отдаваясь пустыне, а белеющие кости, где теперь поселились трудолюбивые осы, да послужат тебе предостережением и напоминанием и о тех, кто забыл и не смирился, и о тех, кто смирился и забыл.

Он не забывал этого.

Он со смирением принимал то, что лежало под его ногами. Он с благоговением принимал то, что высылось над головой. Но то в нем, что находилось между землей и небом, донимало и изводило его, не давая покоя, лишая сил и воли.

Зачем?

Он прошел сушу великую и бескрайнее море, преодолел величественные горы, глухие леса и обезвоженные пустыни. Унизанная костяными квадратиками шелковая нить, вернее, не нить даже, а след ее, мерцающая тень на волнах пространства, привели его сюда, откуда он начал свой путь. Как зыбко все. И вот он здесь. Беспомощный, как тот далекий пятилетний мальчик под ногой слона. Только сейчас он не мальчик, а перед ним – и он знает это – не слон, но Левиафан. Как зыбко все.

Он, безвестный, явившийся ниоткуда, всегда был зн`аком перемен, которые преобразят этот постаревший мир.

Знал ли он это?

Да.

Окружающие его люди жили терпеливым ожиданием его чудесного преображения.

Знал ли он это?

Да.

Это знание жило в нем всегда. Он сводил все к шутке или сердился, когда ему говорили об этом. Он уходил – в себя, когда ощущал неколебимую длань этого знания на своих плечах. Он уходил – от себя, от тоски и ужаса перед Левиафаном.

С мечом на белом коне?

Нет, нет, нет!

Обратить мир в руины, чтобы на них воздвигнуть новый мир, сверкающий алмазами?

О, нет.

Он испытал восторг и потрясение, когда это знание ослепительной вспышкой озарило его, излившись в одно-единственное понятие, одно-единственное Слово. Слово, которым можно изменить этот мир. Без насилия и крови. Как семя обращается в росток, кучнеет корнем, наливается силой, и вот – могучее дерево, алилуйя пребывшему семечку и осанна грядущим.

Слово – Им же самим.

Словом.

Вот – он здесь. Откуда так давно начался его земной путь.

Если верить шелковой нити с нанизанными на ней кусочками кости.

Если верить словам человека, настолько мудрого и благородного, что порою кажется, что его и быть не могло, и не было, а только приснилось.

Если верить толчкам своего сердца.

Сердце – он знал – это когда больно.

Он здесь.

И ему больно. Завтра.

Занятый своими бедами старик.

Мрачный нелюдим на краю селения. Га... Да. Гариод.

Усталый солдат у ручья. Иноземный. Иноплеменный. Их боятся и называют варварами. Солдаты тоже называют местных жителей варварами и, по-видимому, боятся тоже. Все против всех. Бывает ли Зло совершенным? Безусловно. Мрак – это полное отсутствие света. А Добро? Безусловно нет, ибо у света бесконечно много степеней яркости. Безусловно нет, ибо бесконечно восхождение к нему по ступеням совершенствования.

Солдаты. Крестьяне. Старики. Дети. Люди.

Что` им его Слово?

Сердце – это когда больно.

Он здесь.

Зачем?

Здесь кузнечики – кимвалы. Им несть числа. Их стрекот сливается с жужжаньем ручных мельниц, коим тоже несть числа. Совершенное Зло и несовершенное Добро.

Сочти – и получишь.

Я знаю. Смерть.

Забавно.

Я уже говорю так же. Или я разучился считать?

Хлеб.

Дом.

Сверчок. Уют и покой.

Кизил, отягощенный бременем своим.

Дом.

И мор, и глад, и кара небесная, когда им воистину несть числа.

Дом.

О, мать моя.

Оскал замершего в полете тигра. Завтра. Тростник поймал порыв ветра. Низко летают чайки над маслянистыми бурунами. Ждет конского копыта дорога. Сырое предгрозовое небо вдавлено в море, как лепешка в миску с растопленным маслом. Жарко. Здесь мой дом.

Здесь?

Здесь я приму смерть.

Старик, омывающий души водою. Старик? Без бороды – лет на пять старше. Старик? Его старит вода. Память воды. Стихийный ведун. Сам, без чужого ведома, шестым чувством – у самого порога. Один шаг.

Жарко.

Зачем?

Он садится на камень в тени. Глаза ушли вглубь глазниц; они теперь совсем черные. Скорпион встал у бронзовой пятки, переступая члениками ног, выгнул упруго жало и озабоченно убежал в камни.

И странный, смуглый, присевший у самой реки. Сильный.

Ждал?

Жарко.

Сорок дней. Завтра.

Откуда?

Египет. Это хранят в Египте. Шахб говорил. Да. Только по истечении сорока дней и ночей умерший считается безусловно и окончательно мертвым – но не раньше.

Жара – это тот же холод, только наоборот.

Где ты, голый мальчик у проруби, накрытый куском заледеневшего полотна?

Где те звезды?

Сердце – это когда больно.

Он сидит неподвижно, пытливо глядя перед собой. Большеголовый муравей поднялся по ноге к колену, пробежал по накидке, перебрался на запястье, обогнул большой палец и прыгнул, довольный своей удалью, усатый щекотун.

Потом несколько холодных ночей. Эта ночь тоже будет холодной. Надо идти. Муравей. Завтра. Надо идти. Женский смех. Солнце садится стремительно, как это бывает только на открытых взору пространствах. Медный пыльный диск. Остывающая жаровня. Как быстро свежеет воздух. Только камни хранят тепло. Пустыня – это незаполненность. Свобода. Одиночество. Одинокость. Город – полнота. Несвобода. Полон. Одинаковость. Одинокость.

Жарко?

Он оглянулся. Низина, живущая своей деловитой насекомой жизнью, уже неразличима в сиреневой дымке. Земля студенела от низин, вынуждая ноги выбирать путь по вершинам холмов, от скалы к скале. Наконец, он сел спиной к камню, вбирая его тепло.

Где ты, муравей? Огромные, словно корзины с виноградом, глаза. Глаза, словно египетские пирамиды. Воронки света. Конус. Перевернутый конус. Жара. Холод. Голод. Жажда. Он вздохнул. Завтра. Было. День. Еще день. Еще. Семь дней. Семь – это когда змея. Большой плоский камень в тени. Потом... Конус. Вбирающий в себя солнечный свет. И острым концом своим вставленный в сердцевину головы. Тогда там, в этой точке, заменяющей им мозг, полыхает солнце днем и видны звезды ночью, как со дна пересохшего колодца можно увидеть звезду даже в полдень. Пересохший колодец. С дробящимся о стенки перестуком долго падающего камня. Он не видел меня глазами. Дробящийся, как женский смех. Он видел меня усиками своими, ибо глаза, видящие только солнце, не различают оттенков и полутонов. Слепы суть. Потом падение в расселину. Он сразу снял опухоль. Нога не болит. Голод – не стоит о нем, когда есть солнце. А жажда – это роса по утрам. Сердце как бубен. То глуше, то громче. Запах дыма. Выгорела на солнце трава. Или где-то сидят пастухи. В такую ночь нет надежнее друга, чем мирно потрескивающий костер. Завтра. Потом он разговаривал. С Шахбом, с Азнаваком. С Радой. Или горит занявшаяся по чьему-то недомыслию сухая трава. Дым. Он вспомнил невообразимо далекую отсюда долину. Дым. Знак беды. Только с двумя он не решался разговаривать. С тем, единственным. И с матерью своею. Над головой наливались спелостью гроздь звезд. Глаза принаравливались к иному расположению знакомых созвездий. Он встал, прошелся вокруг камня. Нет. Падет роса, и все будет в порядке. Вокруг головы закружились мотыльки, искорками вспыхивая во мраке. Он свел вместе слабо мерцающие ладони. Мотыльки оценили новую забаву. Потом над холмами взошла луна, полная, как страсть – в отличие от тонкого ощущения, стройного чувства и жилистого желания. Взошла луна, и мотыльки оставили его.

Завтра. Завтра он вернется – куда? У него нет дома. Та долина в горах – ее тоже нет. У него нет ничего. Сердце – это когда больно. Это глаза тех, кого нет. Он ничего не забыл. Не забыл. Он помнит и свои слезы, бессилие и гнев – перед Неведомым, лишаящим его опоры каждый раз, когда он делал шаг вперед. Вперед. Куда?

Зачем?

Довольно. Довольно жатвы смерти. Только затем, чтобы он сделал следующий шаг? Камень совсем остыл.

Потому я и ушел сюда.

Довольно. Взмах ножа, предсмертный хрип. Кровь, кровь. Эта земля пропитана кровью на глубину корней, и реки – вздувшиеся вены на руке мясника.

Довольно.

Он откинулся на стылый камень, сдирая с груди накидку. Пот застилал глаза. Бубны в ушах били и били.

Потом раздался смех. А ты помнишь, спросила Рада. Он улыбнулся вымученной улыбкой. Конечно, помню. Картика¹¹. Новолуние. Неправда. Ты ничего не помнишь. Помню. Нет. Ты даже не обратил внимания на мой веночек из кетаки¹². Да. Веночек. Ночью? Мне тогда больше хотелось дернуть за ленточку, которая... Их было несколько, быстро, за какую? За красную. Вот. Ты никогда не умел лгать и притворяться. Цвет ленточки ты определил. А мне тогда хотелось стукнуть тебя хорошенько, такой ты был бесчувственный. Сейчас я бы сказал, что ты была похожа на осеннюю луну¹³. Молчи. Молчи. Они с Радой у запруды, озабоченно мастерят маленькие плоты с крохотными лампадами¹⁴. Лампадки дрожат над водой, помаргивая, словно она вдруг обрела лик и прозрела. Рука его касается прохладной и сгущенной черноты; он поднимает руку, подносит к глазам. С пальцев медленно и тягуче, искрясь лампадами пополам с луной, стекают сочные блестки. Нет, говорит он. И потом кричит. Нет. Что ты, спрашивает Рада. Кровь, говорит он. Дурачок, это вода в лунном свете. Нет, говорит он. Кровь. Я не хочу. И он бежит, опрокинув плот с обиженно зашипевшей лампадой, бежит, и ноги сам ведут его тысячи раз хоженной тропой в хижину, где он ежедневно моет посуду, привычно и безнадежно, так, как побитая собака возвращается в свою привычную конуру, и Рада бежит за ним, потому что, не потому что, а что бы я стала делать у запруды одна, и от порога он видит, что в хижине кто-то есть, Азнавак, нет, Азнавак головой упирается в потолок, Азнавак пришел позже, а это небольшой, тщедушный даже человек, Шахоб, да, он знал, что этого Наставника зовут Шахоб, но ничего больше он про него не знал; понимание Шахеба пришло много позже, а тогда он сидел в своем углу, насупленный, как выпавший из гнезда соенок, Рада сердито поджимала губы, словно выбирала, браниться или плакать, неправда, мне просто было страшно за тебя, и я изо всех сил скрывала это, ну, вот, значит, так, вот, значит, ты плачешь, нет, я не плачу, ты плачешь, не знаю, это хорошо, вот, а Шахоб сидел на корточках у очага, протянув ладони к теплу, и отсветы углей ложились на его бронзовое лицо, и молчал, а потом пришел Азнавак, наверное, встревоженный, не найдя их у запруды и обнаружив разбросанные плоты, пришел Азнавак, ты не умеешь рассказывать, неважно, я умею вспоминать, так вот, пришел Азнавак и с проницательностью Наставника оценил и понял состояние и дух присутствующих и промолчал и ничего не сказал, а только ушел вглубь, к сложенным горкой посудинам, и тогда Шахоб негромким и скрипучим голосом начал рассказывать сказку. Притчу. Сказку, Рада, сказку. Детям рассказывают сказки, а притчами они становятся, когда над ними задумаешься. Я помню ее. О том,

¹¹ Картика – в индийском календаре месяц, приблизительно соответствующий нашему октябрю.

¹² Кетака – цветы с желтыми соцветиями.

¹³ Традиционный в Индии комплимент девушке.

¹⁴ Лампадомантия – способ гадания, распространенный в древности повсеместно, от Египта до Китая, заключается в том, что плоты с зажженными лампадами пускают по течению реки, загадав желание. Осуществление его зависит от того, насколько далеко уплывет плот, как долго будет гореть на нем лампада и т. д.

как Лев встретил раненую Пантеру и спросил ее, кто ее ранил, и она ответила: Человек. Да. Лев удивился, как такую сильную Пантеру мог победить слабый Человек, но она ответила: да, это так. Бойся Человека. Теперь я. Лев пошел дальше и встретил Лошадь в сбруе и спросил ее, кто ее запряг и взнуздal, и она ответила: Человек. Бойся Человека. Дальше Лев встретил Медведя в клетке и Буйвола с отпиленными рогами, прикованного к цепи, и все они сказали ему: бойся Человека. Подожди. Я так славно помню, как Шахeб, рассказывая, все больше воодушевлялся, как горели его глаза, он морщил лоб, изображая удивленного Льва, дышал протяжно, всхрапывая, как загнанная Лошадь, тряс воображаемую клетку, словно разъяренный Медведь, и сопел, наклоняя плешивую голову, словно Буйвол. А Азнавак только прятал улыбающееся лицо, склоняясь над пустыми котлами. Ну, вот. И Лев подумал: я Царь зверей, чт`о мне какой-то жалкий Человек. Наконец, встретил он другого льва, который был пойман Человеком, и другой лев тоже остерегал Льва от сближения с Человеком. И рассердился Лев, и разъярился, и стал рыскать везде в поисках Человека, чтобы сразиться с ним, и угодил в западню, которую устроил Человек. И Человек накинул на Льва веревку и связал его и ушел за помощниками, чтобы вытащить Льва из западни и убить. А в западне оказалась Мышь, которая взмолилась, чтобы Лев не убивал ее, маленькую и малосильную, потому что и от нее может быть польза. Лев только вздохнул, ибо что может сделать Мышь, если сам Лев бессилен. Но Мышь перегрызла веревку и освободила Льва. А потом. Да, Рада. Сказка кончилась. Да. Сказка кончилась. А потом Шахeб лукаво спросил, понравилась ли нам сказка. Но я знала, что сказка с подвохом. Все сказки с подвохом, то есть они рассказывают совсем не о том, о чем в них говорится, а о другом, спрятанном в них, как орех в скорлупе. И я сказала, что здесь не Лев, а сила тела, и не Мышь, а сила духа, и сила духа помогает выжить, а если уповать на силу тела, то станешь рабом, как Лошадь, Медведь или Буйвол. Тогда Шахeб посмотрел на тебя, а ты спросил, почему Человек так коварен и жесток. Шахeб пожал плечами и ответил, что Человек таков, каков он есть. Мир вообще жесток. Нет, закричал ты. Шахeб снова пожал плечами. И ты тогда сказал, тоже пожав плечами: тогда это не тот мир. Шахeб переглянулся с Азнаваком, и оба они уставились на тебя, как будто никогда не видели до этого. А мне, мне снова хотелось тебя стукнуть за твое упрямство, но я только убежала от вас от всех и спряталась, и плакала, плакала, плакала, а почему, я тебе никогда не скажу. Не надо, Рада, не говори. Не буду. Не буду. Не буду.

Он поднял голову. Звезды поблекли. Теперь они казались просто звездами.

Он встал. Мышцы сводило. Под ногой захрустела трава, жухлая от заморозка. Он тронул на прощанье камень, на котором провел эту ночь – последнюю ночь, и пошел, огибая его, на запад, в чернеющую еще ночной мглой сторону небосвода.

Резко обожгло ногу.

Он упал.

Нога.

Он потерял ощущение времени. Та же нога, которую он подвернул, когда не увидел расщелины. И еще он делил камень со змеей. Или это было после?

Последний день.

– Какая встреча!

Чжу Дэ открыл глаза.

Совсем рассвело. А казалось, он только моргнул.

Груда камней образовывала некое убежище, защиту от ветра и стороннего глаза. Если без помощи рук человеческих, то природа более милостива к человеку, чем он считает.

Логово.

Костер. У костра на камне, устланном звериной шкурой, человек. Стройный, крепкий, ленивый в движениях. Смуглое лицо с небольшой смоляной бородой. Насмешливые жгучие глаза. Рядом, у плеча, женщина с милостивым, но заспаным и от того слегка подурневшим лицом. Она расчесывает человеку гребнем волосы. Еще одна женщина, постарше и поплоней,

сидит у костра на корточках и раздувает огонь под охалкой по-женски, вразнотык сложенных веток. Дым стелется по земле. От него распущенные по плечам волосы женщины кажутся седыми. Дым. От него все кругом кажется зыбким и нереальным. Но голос – он раздается снова.

– Сорок дней, —

Чжу Дэ узнал его.

смуглый человек зевнул и засмеялся. – О Адонай,

Река и солнце. И голубиный трепет в синеве. И руки, вылизанные струями до прозрачности алебаstra, заносят над их головами пригоршни воды.

ради этой встречи мне пришлось исходить всю пустыню!

– Мои бедные ноги! – сказала женщина с гребнем в руке.

Человек лениво повел плечом, и женщина замолчала.

Чжу Дэ сел, искал глазами, куда опереться. Взгляд его нашел в закурчавившейся от инея траве замерзшего кузнечика.

Кимвал.

– Кто ты?

Чжу Дэ улыбнулся, осторожно взял кузнечика на ладонь, подул. Потом обхватил его губами, согревая. Женщина с гребнем ахнула. Кузнечик зашевелился во рту. Чжу Дэ выложил его на ладонь и переложил

– Сын человеческий.

на камень повыше. Полная женщина у костра сплюнула.

– Гадость какая, – сказала она неожиданно низким голосом.

Костер затрещал. Она поднялась с корточек, без смущения запахиваясь. За ее спиной вошло солнце. Теперь ее волосы казались не седыми, а рыжими.

– Мясо, Береника! – сказала женщина с гребнем. – Ибо господин наш

Полная и рыжеволосая, которую называли Береникой, бросила на подругу ревнивый взгляд и

взлкала.

укрепила над костром

Человек снова повел плечом. Миловидная женщина перестала расчесывать его

вертел

с отсвечивающей перламутром плотью расчлененного надвое ягненка.

и села рядом.

Потом освободила волосы от заколки, свободно распустив их по плечам, разделила их гребнем надвое и ловко и привычно стала сплетать в косы.

Капли жира затрещали на угольях.

– Вы забыли про сына человеческого, – сказал человек. – Мясо. И вино.

– Вино, Милка! – улыбаясь, подхватила Береника.

– Вино, – сказала та, которую называли Милкой, из-под покрывала волос, нагнулась, не глядя, достала из-за камня кувшин.

Смуглый незнакомец отодвинул власяное покрывало, открыв розовое ухо, и пощекотал его. Милка засмеялась.

– И прелесть жен человеческих, – добавил он.

И тоже засмеялся.

– Ну, если ты сын человеческий, тогда я – сын Божий.

– Гиллел¹⁵! Гиллел! – заохала Милка.

Полная же Береника приложила руки к глазам и затем воздела их ладонями к небесам.

– Гость устал в сорокадневных скитаниях по пустыне, – сын Божий оборвал смех и подался вперед. – Как нога?

Чжу Дэ потрогал щиколотку.

– Я думал, будет хуже, – незнакомец поднял брови, —

Чжу Дэ пожал плечами.

нога,
попав в силок, сплетенный из верблюжьего волоса, – он
снова засмеялся, —

Чжу Дэ снова потрогал ногу.

неизбежно должна распухнуть
и побагроветь, а у тебя, никаких следов, – он, словно
извиняясь, развел руками. —

Чжу Дэ с интересом посмотрел на него.

Другого способа остановить
тебя не было.

Глаза их встретились на одно мгновение. Но Чжу Дэ успел снова ощутить силу, исходящую от смуглого незнакомца.

– Сын человеческий, – медленно, словно пробуя на вкус, сказал сын Божий и усмехнулся. – Много я знавал сынов человеческих, и не было среди них никого, кто не склонился бы передо мной – из тех, кто остались живы.

Он с вызовом посмотрел на Чжу Дэ.

– Вот мы сидим, два сына, у костра, – сказал Чжу Дэ. – И Он один над нами обоими. Кто бы чьим сыном ни являлся. Не так ли?

Незнакомец оглянулся на женщин.

– Так, – осторожно сказал он.

– Тогда не равный ли грех ли пред лицом Его мое поклонение тебе или твое – мне? – и Чжу Дэ мягко добавил: – И не благом ли будет сынам равное поклонение Ему?

Береника отняла вертел от костра. Теперь, когда солнце поднялось, волосы ее были уже не рыжие, а иссиня-черные, цвета играющих на свету маховых перьев ворона. Она подала незнакомцу и села слева, споро, по-кошачьи, зевнув. Милка же, справа, разостлала небольшую небеленую холстину, расставила чаши, хлеб и сыр.

– Я не люблю попусту тратить слова, – продолжал сын Божий, состругивая ножом с вертела куски на скатерть. – И не люблю тратить попусту силы. Я пришел в пустыню, ибо так было сказано. И я не виню этих славных мирянок, – он шутливо обнял обеих женщин, – за то, что они последовали за мной, движимые чувством искренней веры.

¹⁵ Гиллел (древнеевр.) – букв. «Хвалите Бога!», восклицание во время иудейского богослужения. В христианстве ему соответствует «Аллилуйя!»

– Воистину так, господин и учитель наш, – откликнулись женщины вразнобой, выбирая со скатерти куски помягче.

Господин и учитель наполнил чаши. Женщины выпили быстрыми птичьими глотками; глаза их увлажнились; он же медленно цедил вино, окаменев лицом, так что нельзя было сказать, покаянное ему оно или окаянное. Медленно, медленно рука скользнула вниз, выпустив чашу, замерла.

– Вижу, не ешь ты пищи нашей и не пьешь вина нашего, – сказал он, улыбаясь тонкогубым красивым ртом.

Рука его, опущенная долу, скользнула от чаши к ножу, пальцы зряче сомкнулись на рукоятке. Он подцепил не глядя жирный кусок мяса кончиком ножа и поднял. Выждал немного. Затем нож дрогнул; мясной обрезок, сорвавшись с лезвия, полетел к ногам Чжу Дэ.

Так кидают мясо псу.

Чжу Дэ проследил взглядом полет мяса, наблюдая, как вокруг него суетливо забегали рыжие большеголовые муравьи.

Господин и учитель тем временем, так же не глядя, взял чашу с вином, поднял, подержал на вытянутой руке.

А затем чаша полетела в сторону, пущенная неуловимым движением руки, и разбилась о скалу. Женщины взвизгнули. Зацокали по камням осколки; вино же беззвучно приняла земля.

– Не соблюдающий обычаев наших есть пришлец, – сказал он, все так же улыбаясь бескровными губами.

– Брезгует он! – сказала Милка.

– Вон его пища, – хохотнула Береника, ткнув недообглоданным ребрышком за спину. – Саранча да пауки!

– А с иноземца я взыщу¹⁶, как сказано Господом, Богом моим, – продолжал сын Божий. – Но не сейчас, ибо

Он любит свою речь, как ребенок – разноцветными камушками. Он играет словами. Он играет Словом. По неведению?

время трапезы

священно.

О, нет. Он знает цену Слова и потому не дает мне его, не желая и в этом уступить первенства, как тогда, у реки.

– Но что взыскать с того, кто сир, наг и нищему? – спросил незнакомец у женщин.

– Ничего.

– Воистину ничего, господин и учитель наш.

– Оделим же его от щедрот наших.

И он красивым небрежным жестом опростал над скатертью мешочек, извлеченный из-за пазухи.

Монеты. Много монет, мелких, в основном истертые лепты, несколько дюпондов, несколько ассов, тусклый кодрант. Слепил глаза, затмевая медь, массивный золотой талант.

И совсем неприметным было узенькое колечко, скатившееся в сторону с денежной горки. Женщины завистливо поглядывали на монеты.

– Деньги, золото... – Незнакомец пересыпал монеты с ладони на ладонь, добродушно посмеиваясь. – О Адонай, держите его, а то он сейчас упадет!

Чжу Дэ покачнулся.

¹⁶ Втор., 15, 3.

Кровь.

Он поднялся и пересел на камень, подальше от вызывающей необъяснимую дурноту кучки металлических кружочков.

Солнце стояло уже высоко. Блистели рассыпанные по скатерти деньги. Женщины прикрывали глаза ладонью. Незнакомец же продолжал смотреть, не мигая и не заслоняясь от солнца; только глаза его сузились в щелки – жгучие, нестерпимые.

– Ты прав, – сказал он, – в пустыне деньги не нужны. А хлеба ты не ешь.

Наконец, женщины не выдержали и поднялись, занявшись установкой некоего навеса – двух шестов, к которым привязан кусок полотна. Господин и учитель тем временем наполнил свою чашу и выцедил ее.

– Или у вас, иноземцев, иной способ утоления голода, кроме мяса и хлеба? – он беззвучно срыгнул, задумчиво разглядывая чашу, потом перевел взгляд на Чжу Дэ. – Если, конечно, ты не прячешь хлеб за пазухой, не делись с нами, а? Нет? Тогда эта толстوشечка не так уж не права, – хмыкнул он, – насчет пауков. Сыт не будешь, но и не помрешь. Но как насчет того, чтобы обратить эти камни в пищу?

– Есть хлеб и хлеб, – сказал Чжу Дэ.

– Хлеб!

– Хлеб – твари, – негромко сказал Чжу Дэ, —

– Богохульник! – ахнула Милка за спиной господина и учителя.

– Кошун, – сипло подтвердила Береника.

и Хлеб – Бога, человеку же – два, но не один.

– О Адонай, и ты это говоришь мне! Мне! – глаза сына Божьего полыхнули черным. – Нивы тучны и скот обилен на пастбищах Его! Неверные же повержены в прах и обращены в рабов, ибо отвратил Он от них лице Свое!

– Едина печать Его на всех творениях, – сказал Чжу Дэ.

– Едина? – сын Божий выгнул бровь. – Уж не на тебе ли и этом барашке, который скрасил нам существование? Едина? – он расхохотался. – На тебе и мне? И на этих дочерях Сионовых?

Женщины вернулись и сели вместе, поодаль, в тени навеса. Господин и учитель весело оглядел их.

– Сыты ли вы, мои красавицы? – спросил он вкрадчиво. – Довольны ли?

– Да, господин и учитель наш, – Милка потупилась.

– Да, господин и учитель наш, – Береника кокетливо оправила волосы.

– Тогда настала пора развлечь нашего гостя, – сказал он. – Может быть, у него появится вкус к еде – одной из двух!

Он глянул на полную Беренику и негромко хлопнул в ладоши:

– Танцуй!

– Он урод! Кривой урод! – Береника прикрыла лицо краем накидки.

Подруга что-то торопливо зашептала ей. Та выглянула из-за накидки, быстро стрельнула глазами в сторону Чжу Дэ.

– Танцуй! – с нажимом повторил незнакомец.

Береника поднялась и прошла вокруг скатерти с рассыпанными монетами. В руках у Милки появился бубен и подал голос. Танцующая подняла руки, откликаясь на зов.

Глаза Сына Божьего снова полыхнули черным.

– И ты! – он подскочил к Милке, поднял с места и подтолкнул к танцующей подруге. – Танцуй! Танцуй! О-хи-и-и!

И обратил к Чжу Дэ мгновенную усмешку.

– Едина печать? Каждый ребенок в Иудее знает, что женщина не похожа на мужчину. А ты, нажив такую же, как у меня, бороду, не знаешь того? Едина печать!

Он – раз! – с треском разорвал надвое накидку на Беренике и —

Так знай же, что Господь, Бог мой, отметил женщину два! – на миловидной подруге ее, Милке, обнажив наготу их. печатью иной, нежели мужчину. Взгляни же и удостоверься сам! Он подтолкнул оробевших женщин поближе к Чжу Дэ и сел.
– Танцуй! Танцуй! О-хи-и-и!

Мучнистая, никогда не видевшая солнца кожа женщин сразу стала глянцевою и залоснилась. Глухо, влажно, точно горячий рот, задышал бубен. Господин и учитель снова подошел к танцующим и поднес каждой чашу с вином.

– Танцуй, чтобы покойник возжелал тебя из гроба!

Женщины засмеялись. Милка подняла бубен повыше и крикнула подруге что-то горланное, напевное, бесстыдное. Полное тело Береники заколыхалось, вторя дыханию бубна. Остро запахло пряным женским потом. Капли пота росли, сливались и ручейками устремлялись в ложбинки. Млела на солнце разгоряченная плоть. Женщина встала напротив Чжу Дэ, пританцовывая и поводя плечами. Бедра и живот ее непристойно двигались. Она высунула горячий язык, облизала масляно заблестевшие губы. Потом подалась вперед. Ладони ее, оглаживая и лаская тело, от первобытного низа живота и бесстыдно раздвинутых бедер, поднялись вверх, приподняли, точно пробуя вес, крупные розные полушария и, сведя их вместе, нацелили на Чжу Дэ.

Бубен хрипел. Милка воздела его высоко над головой, вытягиваясь в лозу. Тело ее, еще сохранившее свежесть, тоже трепетало и колыхалось всеми выпуклостями и складками.

Рада. Где ты, Рада.

– Рада я, ох как рада, – отозвалась Береника еще более сирым от усталости голосом.

Чжу Дэ вздохнул.

– Нет, не Рада ты, – сказал он, – и не рада, ибо не любовь движет тобою, но страсть к наживе. И потому тягостен тебе труд твой, а не радостен.

Бубен замолчал. Береника прикрылась руками и оглянулась на подругу. Та подошла к смуглому незнакомцу и опустилась перед ним на колени, протягивая ему бубен, словно блюдо с угощением.

– Я танцевала для тебя, господин и учитель мой.

И отшатнулась от молниеносного взмаха руки, разбившего бубен о камни.

Милка вскочила на ноги и в испуге отбежала в сторону. Подруги обнялись и пошли под навес, кутаясь в разодранные накидки. Береника спрятала голову под полой накидки; Милка ткнулась ей в плечо в беззвучном плаче.

– А не заколать ли мне тебя? – весело спросил сын Божий. – Аки жертву за грех? Тем самым совершив угодное Господу, Богу моему, деяние?

– Заколай! Заколай! – заполошно крикнула красивая Милка, впрочем, уже подурневшая от слез.

А они, эти славные мирянки, вернувшись в Иевус, разнесут весть обо мне, добром пастыре.

Нож лег ему в пясть, взлетел и опустился в другую.

Не о том ли в Законе непреходящем:

Ибо так говорит Господь:
рана твоя неисцельна, язва твоя жестока¹⁷.

– Заколай!

Чжу Дэ поднялся с камня.

– Грех поднимать оружие против безоружного, – сказал он.

¹⁷ Иер., 30, 12.

Руки сына Божьего продолжали играть бранным железом, подбрасывая и ловя его.
– Вот – нож, – сказал он. – Удобный, славный. Мне нравится с костяной рукояткой.
У Чжу Дэ снова поплыло перед глазами. Он покачнулся.

Хочешь, я дам его тебе, если, конечно, ты сможешь взять его.

Внезапно нож полетел по высокой дуге, которая заканчивалась у ног Чжу Дэ. Но сверкающий круг солнца и стали, дойдя до верхней точки дуги, остановился, словно перед незримым препятствием, полетел обратно, повторяя свой путь, и вонзился в землю у ног смуглого сына Божьего.

– О Адонай! – ахнула Милка. – О, господин и учитель наш!

Подруга ее только блестела из-под накидки круглым сорочьим глазом.

Чудо! Я видела чудо, своими собственными глазами! – она приложила ладони к глазам и затем открыла их миру.

Господин и учитель молчал – но только мгновение. Дрогнула линия рта.

– А! – сказал он и засмеялся. – Не взял.

Плеснул себе вина, медленно выщедил.

Игра усложнилась, и он тянет время. Потому что не любит проигрывать.

– Знаешь ли ты Храм в Иевусе? – он небрежно кинул пустую чашу вниз, под ноги. – Впрочем, откуда тебе, сыну человеческому, пришедшему ниоткуда... Да. Так я тебе скажу, что высоки стены его, – снова дрогнула в усмешке линия рта. – Может быть, ты, подобно ножу этому, воспарить со стены, и ангелы будут поддерживать тебя под руки, если, конечно, так будет угодно Господу, Богу моему.

Он смеялся, но уже не добро, а пьяно, глумливо.

– Ты слишком часто все упоминаешь имя Господа, Бога твоего, – сказал Чжу Дэ.

– Моего, – повторил сын Божий и повторил с нажимом: – Моего, – он оживился. – А твоего? Или твой Бог – иной?

Зачем?

Последний день.

Сегодня.

– Поведай же о Нем, – он откинулся, лениво оглаживая смоляную бороду и прищуривая жгучие глаза.

Чжу Дэ поднял голову. Не эта борода и не эти глаза виделись ему, а иные, совсем, полностью, напрочь иные.

– В начале было Слово, – тихо, сдерживая волнение, сказал он. – И Слово...

– Было убого! – подхватил незнакомец. —

И Слово было...

Было «ох!»

Он смеялся. Смеялся.

– И «ах!» И «кха!» И «кху!»

Потом закашлялся.

Добрый был ягненок.

Старая сука. Ненавижу.

Потом недовольно,

Довольно! Довольно!

словно прислушиваясь к чему-то в себе,
посмотрел вокруг.

Чжу Дэ взялся за скалу. Кружилась голова.

...мир. В нем ревела буря, бились волны,
светило солнце. Волк рыскал в поисках добычи. И стал
не мир, но два: бывший и Словом содеянный
и умозрительный. И в нем волк рыскал в поисках добычи,
а могла и добыча рыскать в поисках волка, ибо

– Что он говорит? – возмутилась Милка.

мир
от Слова больше мира от праха. И в нем звучали
колыбельные песни и погребальные гимны, хвала и хула,
воздвигались храмы и рушились царства. И был соблазн
отречься от Слова и впасть в первозданный мрак
и исчезнуть, ибо человек без Слова суть прах и тлен.
И стал соблазн отречься от мира, заслонившись от него
хрустальной стеной Слова

– Эй! – сказал сын Божий. – Я просил поведать о Боге.

и исчезнуть, ибо человек без
мира суть безумие и гордыня. И стал человек,
беззащитен и сир, на перепутье и плакал, убоясь. И тогда
он обратился к Богу, который Один связывает концы
и замыкает начала. И с Ним человек обрел равновесие
духа и плоти, мира и Слова, имя которому – благодать
Божия.

Береника же приспустила полу накидки и теперь смотрела на него во все глаза.

Чжу Дэ снова поднял голову. Солнце перевалило на вторую половину пути. От набежавших легких облачков посвежело. Глаза его увлажнились.

Он был бы доволен.

– Хорошая сказка, – сын Божий зевнул и тоже посмотрел на солнце. – Но с плохим концом. Потому что благодать – она не на всех, знаешь ли о том? И еще скажу. Нет в твоей сказке врага рода человеческого, а ведь он пребывает, знаешь ли о том? Пребывает... Стало быть, сказка твоя есть ложь и суесловие. Но довольно.

– Он пребывает в мире, но не в Слове.

– Э? – он оглянулся, словно высматривая того вокруг. – В мире? – и махнул небрежной дланью. – Довольно, я сказал.

Оглянулся на притихших женщин.

Вам пора возвращаться в Иевус.

– О, господин и учитель...

Господин и учитель ваш велит вам возвращаться. Срок подходит к концу и, – он понизил голос, хохотнув, – не гоже сыну Божьему являться в мир из пустыни под руки с девами. А потому... Я пришел сюда один, я и вернусь один.

Женщины засобирались, охая и придерживая сползающие обрывки одежды.

Идите вслед за солнцем. К закату выйдете к Ередану, прямо будет мост Адама, а ниже по течению – мост Абд Улла, а за ним – дорога на Пальм. Ну, дальше разберетесь.

Он бросил быстрый взгляд по сторонам, на Чжу Дэ, вниз, на разбросанные деньги.
Вот, берите, это вам.

Он сыпанул горсть монет Милке, зачерпнул еще.

– Нет, – торопливо сказала Береника. – Я не возьму денег.

Она заслонила рукой от протянутой горсти с медяками и быстро пошла прочь.

– Я возьму за нее, – сказала Милка, скривив красивые губы в злой усмешке, и подставила руки под монеты.

И заспешила вслед за подругой.

Сын Божий сел, отдуваясь. Швырнул на скатерть остатки монет. Вскочил. Бросился за женщинами. Остановился. Сплюнул. Вернулся. Зашел за камни, долго звенел, облегчаясь. Сел на свое место. И снова вскочил.

– Эй!

Он был один.

Сын человеческий ушел. Далеко белела его накидка. Он шел иным путем, правее солнца, беря круче к северу.

– Киннереф, – пробормотал сын Божий.

Поднял кувшин, потряс его и грохнул о камень. Потом напрягся, ухватился за нож. Сторожко, по-звериному повел носом. Встал. Прошел, ступая негнушимися ногами, по скатерти, по разбросанным медякам, кускам мяса и глиняным черепкам, туда, где сидел Чжу Дэ. Пригнулся, приюхиваясь.

– А! – сказал он. – Ладно. Поглядим.

И с силой вонзил нож по самую рукоятку в землю, еще сохранившую слабый запах свежесвеженного хлеба.

* * *

Он жил среди собственных нечистот, расстояние до которых равнялось длине цепи, к которой он был прикован.

Он пил собственную мочу, когда о нем словно забыли и он несколько дней не получал своей и без того скудной плошки с протухшей водой из ближайшей ямы. Стражники сторонились его, как зачумленного.

Он не замечал этого.

Худо было рукам. Они, иссушенные, растрескались и кровоточили.

Худо было телу. Кожа иссохла, как на дохлой ящерице, исклеванной птицами, и покрывалась струпьями.

Накидка его давно уже держалась на нем вопреки представлениям об одеянии и вполне могла назваться чудом, задумайся он над этим. Потом же, когда его брали, и вязали, и волокли на цепи, она превратилась в обычные лохмотья, какие встретишь на любом нищем, а кого в этом мире удивишь нищим?

Он не замечал этого.

Исхудалыми костлявыми пальцами, напоминающими палочки писца, свернутые в тонкие свитки, он перебирал песок под ногами, набирал в горсть и пересыпал его привычными движениями, и шелестящая еле слышно струйка постепенно темнела, набухая, и продолжала вытекать между пальцев, но уже беззвучно.

Он улыбался.

Речные потоки веселят град Божий,
святое жилище Всевышнего.
Бог посреди его;

Он сидел посреди нечистот и улыбался.

он не поколеблется: Бог поможет ему с раннего утра.
Восшумели народы; двинулись царства:
Всевышний дал глас Свой, и растаяла земля¹⁸.

Был ли он счастлив?

Да, как счастливы живущие в неведении того, что` есть счастье.
Он узрел Его.

Он простер руку с высоты,
и взял меня, и извлек из вод многих.
И воздал мне Господь по правде моей,
по чистоте рук моих пред очами Его.
С чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его¹⁹.

Был ли он несчастлив?

Да, как несчастливы осознающие всю малость отмеренной им меры – упований и надежд.

Я же червь, а не человек,
поношение у людей и презрение в народе²⁰.

Он не узнал Его.

А потому давно был готов встретить муки и смерть.

Смерти не было. Смерть являлась прихотью тех, сокрытых за дворцовыми стенами, наделенных властью, облаченных в виссон, странным условием странного торга, в котором к праведности прикладывалось количество служек в Храме, а покаяние следовало разделить на тук приносимой жертвы.

Торг затягивался. Это не было мукой – это было подготовкой к мукам, смакованием, неторопливым предвкушением их.

Мукой были собственные мысли его.

И сны. Сны, в которых мертвый голубь носился над темными водами и глядело на него в упор из обезображенной глазницы чудом уцелевшее око.

Он с радостью отказался бы от света солнца, он согласился бы отречься от имени своего, он скрежетал бы зубами и был одичалым псом, но провел остаток жизни без воды, – только чтобы узнать, точно узнать: на кого он излил влагу очищения в тот день?

Кто ответит?

Ученики?

Раз в день ему приносили еду – окаменевшую лепешку, которой погнушался бы и вечно голодный раб. И питье в кособокой плошке, неудаче гончара или шутке его из остатков глины, на три глотка, для забав детворы. Иногда, а в первые дни постоянно, сюда сбегалась дворцовая челядь посмотреть, как безумный отступник будет есть. Осколки выбитых при поимке зубов кровоточили, как пальцы его, и не справлялись с каменной лепешкой.

Не назвал ли он сам себя Предтечей, приуготовляющим пути Тому, кто идет за ним? Ученики – это устроение, быт, лад. Чинопочитание. Любимцы и послушники.

Вымачивать ее – было жалко воду. Он ломал лепешку птицам. Они ели, гадили. А воду... Тут и начиналась потеха. Потому что безумец набирал воду в рот, совсем как птица и долго катал ее во рту и ласкал языком, склонив голову и вслушиваясь в себя. Поношение?

То, что было так ненавистно ему и от чего он ушел.

¹⁸ Пс., 45, 5 – 7.

¹⁹ Пс., 17, 17, 25, 27.

²⁰ Пс., 21, 7.

Посмешищем – да, был, особенно первое время, так что страже пришлось отгонять чернь голосом и пинками. Потом это приелось, как приедается черни все, что не связано с едой и продолжением рода, и он остался один на солнцепеке в углу двора, если не считать неотступного стражника.

Ушел? Ведь они были, как он ни противился этому. Он не желал быть ни овцой в стаде, ни пастырем. А они приходили – глазеть, как и эта чернь. Он рвал голос, мыча, вымучивая наболевшее, словно роженица плод свой. Они слушали. Потом уходили. Оставались те, кому идти было некуда и терять нечего. Зато как велик выигрыш! О, искус. Паршивые овцы. Есть, есть на скрижалях небесных Его прописание о том, что на зов откликаются прежде всего лихие и лукавые, а тихие робеют и остаются в стороне.

Хозяевам дворца он тоже не давал покоя, хотя и не вышли во двор ни разу. Правда, он невольно замечал, как, словно невзначай, колеблется занавес в окне. Пустое! Пустое!

Не так ли в котле при варке мяса образуется пена, которую рачительная хозяйка убирает вон? Не так ли при волнении вод на поверхность всплывают грязь и сор? Ученики.

– Ха-Мабтил.

Он не пошевелился. Ветер играет в бороде. И в ушах.

– Ха-Мабтил.

Стражник.

Стражник?

Он отследил глазами тень. Тень поплясала на зловонном полукружье, двинулась дальше и остановилась у его ног.

– Я слышал тебя там, у Ередана, Ха-Мабтил.

Зачем ученики Предтече? Если Он явился, Предтече уходить. Что` тогда ученики? Если нет Его, Предтече уходить все равно. Ученики? Чему он может их научить?

– Ты смелый человек, – торопливый шепот, тень речи, был подобен той, что скользила по песку у его ног. – Я же трус. Ты прикован к цепи. Я же охраняю тебя.

Он, отступник, отринувший все пребывшее учение?

Мне жаль тебя, верь мне, да. Остальные стражники смеются над тобой, но мне жаль тебя.

Тень дрогнула и двинулась дальше по кругу.

Терпению. Терпению и гневу. Терпению, гневу и памяти воды.

И снова закачалась у ног.

– Там, у дворцовых ворот, двое, с виду братья. Оба губастые, рослые, рукастые. Я видел их подле тебя. Не бойся, – заторопился голос, – я не выдам. Я могу им передать от тебя слово.

Тень снова двинулась по кругу.

Тень двинулась по кругу, а он вспомнил. У стражника меткий взгляд. Рослые, рукастые. И губастые вдобавок. Да. Старший – огонь. Чуть что – за нож. Что кому привычнее. Слово. Плуг. Камень. Деньги. Вот – нож. Шеммах. Младший – вовсе молчун. Даже имени не сказал. Что же у него за прошлое, если даже имя его тяготит?

Ученики.

– Я жду, Ха-Мабтил, – мерно, в сторону, в такт своим шагам проронил стражник.

Пусть спросят.

Нет.

Нет.

Спасенному – спасену быть.

– Пусть уходят, – сказал он трудно, ворочая языком по кровоточащим осколкам зубов. – И живут промыслом родителя своего.

– Я передам, – шепнул стражник и тут же зашипел: – Идут! Сюда идут!

Это была она. Царица. С толпой приближенных, мамок, нянек, рабов и рабынь, с целым выводком наглых и уверенных в своей наглости кошек.

Это была царица, но не она. Ибо не узнать было в этой раздавшейся человеческой самке, прячущей за птичьими перьями зоб, а за камнями, правленными в металл, – увядшие млечники свои, ту, о которой шушукались в Риме, ту, которая возревновала к другой, жившей задолго до нее, царице иного царства, слывшей непревзойденной красавицей, ту, прихоти которой легко преступали законы, и тем покоряли – до тех пор, пока это были законы естества, а не неба.

Волчица.

Сытая волчица.

Мановением руки она остановила слуг и подошла одна – к кругу, образованному человеческими испражнениями, не замечая их, как и стражника, выпучившего от усердия глаза.

– Какая встреча! – сказала Ирида. – Как будто ничего не изменилось.

В руке у нее был серебряный кувшин тонкой индийской работы.

– Мне решать твою судьбу, – сказала она и покачала сыто булькнувший кувшин, – как участь этой воды.

Она слегка наклонила кувшин. Драгоценная влага жаркой струйкой пролилась, дробясь и прыгая каплями в пыли.

– Ну?

Она сильнее наклонила кувшин.

– Слово – вода. Слово – жизнь.

Пела вода. Пела, смеясь, свое, вечное – о мимолетности всего сущего.

– Ну?!

Он улыбался.

Последние капли впитал алчный песок. И тогда он издал непотребный звук. Чтобы не осквернить уста.

Лицо Ириды пошло пятнами. Она схватилась за грудь.

– Клянусь лоном своим, ты умрешь! – сказала она. – Ты умрешь, но я сделаю так, что твоя смерть отныне станет поучением всем безумцам и маловерным.

И увела с собою свиту.

Вышла – царица.

Говорила с ним – человеича.

Ушла – дьяволица.

Он долго сидел, раскачиваясь, и придерживая цепь, чтоб не мешала железословием своим иной боли, зреющей внутри. Души не было. Была бездна. И боль носилась над бездною мертвым голубем. И когда боль прорвалась наружу, он простонал:

– Ты ли Тот, Кого мы ждали?

Снова сидел, окаменев.

Потом лицо его просветлело. Он поднял голову. Он встал. Он был готов. Он улыбался. Он запел – неумело, неуклюже, но старательно, возмещая неумение громкостью. Разве не глас Господа прогремел над водами, над водами многими²¹? Итак, он громко запел.

Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться:

Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим,

Подкрепляет меня на стези правды ради имени Своего.

Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною;

Твой жезл и Твой посох – они успокаивают меня.

Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою;

²¹ Пс., 28, 3.

чаша моя преисполнена²².

* * *

Иногда бывает, что мелкое и невзрачное в жизни преисполнено житейского шума и показного блеска. Переживаешь, суетишься, чтобы удостоиться громокипящего, а на поверку оно сравнимо разве что с овечьим горохом. Бывает и наоборот, когда важное и значительное вступает в жизнь человеческую незаметно и тихо. Умудрись разглядеть в пестроте дня сегодняшнего. Оглянешься спустя много лет на свое прошлое и вздрогнешь – вот же где оно было, оно, то самое, твое, твое истинное!

Не умение ли различать первое от второго является наиболее важным для человека?

А было так.

Чжу Дэ обошел Киннерефское озеро с востока, пройдя землями Десятиградия и Трахонита. Скалы и камни. Изрезанная линия горизонта не была похожа ни на что им виденное до сих пор. Суровая, дикая природа обладала странным очарованием. Места здесь были глухие, разбойные. Несколько раз он слышал в ночи посвист, и тут же за ним – ответный, за спиной. Раз из камней к нему вышли неприметные личности, оглядели с ног до головы и спросили, кто таков. Чжу Дэ ответил, улыбаясь, что он – богач и может поделиться с ними. Его окружили, стали требовать показать свое богатство. Чжу Дэ сказал, что богатство его нельзя увидеть, ибо оно – у него в голове. Главарь приказал отпустить блаженного и на прощанье оделил парой медяков и куском хлеба.

В Десятиградии было повеселее. Ровные поля, ухоженные сады. Разные племена и народы населяли его. Иногда встречались целые селения эллинов, сирийцев, иудеев и снова эллинов и сирийцев. Определенной цели у Чжу Дэ не было. Он просто шел, смотрел, отдыхал. Его не останавливали. Иногда давали хлеб. Он, поблагодарив, брал. Встретилась шумная свадебная процессия. Его угостили вином. Он поклонился людям.

Потом слева бирюзовой полосой сверкнуло озеро. Потянулись иудейские поселения. Чжу Дэ шел, размышляя, почему народ, получивший Откровение о Боге, совершенное, незамутненное, очищенное от всяких ненужных, земных и потому пребывающих подробностей, в котором нет образа, нет формы, а есть только суть Его, – почему народ этот столь ревностно скрывает Его и делит все человечество на своих, приобщенных к Нему, и чужих, варваров, погрязших в идолопоклонстве? Он вспомнил разговоры с Шемаимом. Да, для рассеянного по свету народа вера в своего Бога – единственное, что спасло, помогло устоять, сохраниться, не сгинуть в пыли веков. Да, это так. Тем более, что были рабство, плен, исход. И снова рабство, плен, исход. И все же... Одним этим не объяснить закрытость народа. Как можно поймать и удержать в горсти солнечный луч? Отгородившись ото всех незримой стеной, не рискует ли народ – целый народ! – оказаться в положении человека, запертого в тесной и душной комнате, без притока свежего воздуха? Откровение? Да. А затем – толкование Откровения? А затем – толкование толкования? А затем – пояснение к толкованиям? А затем – толкование к пояснениям толкований? Ах, Шемаим, Шемаим! Славно можно было бы сейчас поспорить. Хотя, что тут спорить? В этом пространстве, окруженном незримой стеной отчуждения и неприятия любой инаковости, в этом безвоздушном пространстве чахнут ростки нового. Мысль продолжает ходить по кругу. Не отсюда ли напряжение в людях? Не отсюда ли ожидание конца и Страшного суда? Не отсюда ли душевные муки? Шемаим! Бог – един и неделим. Как можно спрятать Его среди одного народа?

Снова потянулись дома. Тишина. Редко выглянет пожилая женщина и, увидев обезображенное шрамом лицо, поспежит прикрыть ворота. Мальчишка с горстью вяленых фиников.

²² Пс., 22.

Чжу Дэ спросил его, что это за город. Мальчишка скрылся за смоковницей и оттуда только ответил: Тель-Гум. Чжу Дэ подмигнул ему здоровым глазом и пошел дальше.

Дорога вывела на площадь с приметным зданием из белого камня. У входа стоял люд, сидели несколько нищих. Чжу Дэ подошел ближе.

Из-за угла показался худо одетый старик, маленький, словно внезапно постаревший ребенок. Он шел, опустив голову и стараясь не смотреть по сторонам.

– Наум! Наум идет, – послышалось в толпе. – Эй, Наум!

Старик затравленно замер, не поднимая головы. В толпе засмеялись.

– Идет Наум, смеется Тель-Гум! – закричали мальчишки.

– Скажи нам, Наум, небо – синее-синее?

– Небо синее-синее, синее-синее, – тихо прошелестел старик.

– Бог – далеко?

Старик задрожал.

– Нет! Нет! Близко-близко.

– Ты ошибаешься, Наум, – с игривым сожалением сказали из толпы, – бесы близко.

Старик дрожал все сильнее. Потом он упал на колени и пополз ко входу в здание. Там стояли – довольные, уверенные в себе люди.

– Куда же ты, Наум? – смеялись. – Тебе нельзя в бет-ха-кнессет²³. Разве ты чист?

– Чист-чист! Чист! – старик ударил себя невесомым кулачком в грудь. – Чист!

– Бесы кругом, а ты чист? Так не бывает, Наум. Бесы!

– Бесы! – старик задергался. – Бесы!

Он попытался еще раз пройти в здание.

– Да уведите же его! – раздался чей-то укоризненный голос.

Но было поздно. Старик упал в пыль под ногами людей и завыл.

– Бесы!

Слюна длинной клейкой нитью стекала на бороду и пузырилась в углах оскаленного рта.

– Бесы!

Он катался по земле. Толпа расступилась. Он оказался под ногами у Чжу Дэ, встретился с ним бессмысленным стеклянным взглядом и вдруг замер.

– Глаз! Глаз! – иступленно выкрикнул он. – Небо синее-синее. Близко-близко. Бог! Бог!

Чжу Дэ нагнулся над ним, удерживая его взглядом на месте. Люди приблизились, заинтересованные неожиданным продолжением.

Вот она – невидимая стена.

Как же должны сузиться эти стены, чтобы превратить человеческий ум в жалкое посмешище! Один шаг – за стены.

Вера?

Вера ли для жизни? Или жизнь для веры?

Чжу Дэ смотрел в упор, не мигая, в глаза старика. В них на мгновение мелькнуло осмысленное выражение.

– Не смотри так! – тонко заверещал он. – Оставь...

Чжу Дэ выпрямился, продолжая удерживать взглядом взгляд старика, и вот – старик медленно приподнялся на локте и сел в пыли.

– Прежде чем войти, ты должен выйти, – негромко сказал Чжу Дэ. – Знай это отныне.

Он сложил пальцы, накладывая на старика защитные вибрации, – раз, и другой. Тот зашевелился, подтягивая под себя разбросанные ноги, а потом как-то внезапно и по-детски заплакал. Это было неожиданно. Толпа волной подалась вперед, отхлынула назад и разбилась на кучки.

²³ Бет-ха-кнессет (евр.) – синагога, молитвенный дом.

- Вы видели? Нет, вы видели?
 - Что он сказал?
 - Он сказал: выйди.
 - Науму?
 - Открой глаза и посмотри. Наум – вот он. Куда ему выходить?
 - Куда?
 - Э, что с тобой говорить? Еще один Наум.
 - Бесам.
 - Что-о?
 - Ты что говоришь, дурачок!
 - Вы видели? Неужели же не видели?
 - Он повелел бесам выйти.
 - Он?
 - Кто он?
- Плакал Наум.

Чжу Дэ поклонился людям и пошел дальше. Несколько старцев потянулись было следом, но потом остановились и, негромко переговариваясь и качая бородами, смотрели вслед. Мальчишки, вездесущие мальчишки увязались за ним. Чжу Дэ узнал среди них того, кто ел финики, хоронясь от него за дерево. Снова подмигнул ему. Тот смущенно улыбнулся в ответ и стремглав побежал с приятелями вперед.

Тель-Гум попрощался с ним – садами и просторными полями, сбегаящими к прибрежным скалам. Тонконогими пальмами, словно девочки, застигнутые порывом ветра. Тель-Гум заканчивался здесь – или начинался – постоянным двором. За двором этим кривился небольшой овраг, куда сваливали мусор и отбросы человеческие и постоянно крутились чайки. Спиной к нему сидела нищенка в окружении чаек, в голубой накидке, подол которой трепал погожий ветер с озера. Нищенка, которой недоступны кров и еда на этом постоянном дворе. Все как обычно.

Чжу Дэ поднялся на холм и оглянулся на Тель-Гум в последний раз. Россыпью камней белели далекие дома; постоянный двор был ближе, но и он отсюда казался таким же камнем, только покрупнее. Голубело пятнышко накидки нищенки в окружении чаек.

Чжу Дэ пошел дальше.

Из разговоров со встречными он знал, что самым приметным местом здесь считается гора Фавор. По ней отмеряют расстояния в Галилее. Значит, Фавор... В нем зрело и наливалось силой ощущение, вернее, не ощущение даже, а спокойное знание, что и гора, и озеро эти важны для него в совсем близком будущем, но еще не решил для себя, в какой последовательности в этом будущем войдут в его жизнь гора и озеро.

Гора.

И озеро.

Чжу Дэ тряхнул головой, отгоняя непрошенные воспоминания, и оглянулся. Тель-Гум уже скрылся за холмом. Чжу Дэ пошел дальше, но через несколько шагов остановился.

Голубая накидка.

Она не местная, нет.

И не сирийская. И не эллинская.

Иудея – перекресток мира. Здесь могут встретиться любые говоры, нравы и одеяния.

И не египетская. И не...

Довольно.

Чжу Дэ сделал еще шаг. И снова остановился.

Дело не в накидке. И не в голубой накидке.

Чайки.

Да, чайки. Они не кружили и не кричали, не дрались и не бранились, как это всегда бывает в местах, где есть пища, но ее не хватает на всех. Они сидели вокруг нищенки в голубой накидке молча.

Так не бывает.

Он шел назад, продолжая размышлять о странном поведении чаек, и уже издалека увидел, что голубое пятнышко на месте, а чайки по-прежнему окружают его. Да, они сидели молча, как будто все это ему привиделось во сне, но не обычном, а весьма странном сне. Он подходил к нищенке сзади, со спины, и видел сначала ее плечи, по которым прыгали под порывами ветра черные волосы. Потом то ли дорога вильнула, то ли его повело в сторону, но он оказался не сзади, а сбоку, и увидел, что у нищенки на коленях чайка, и нищенка что-то делает с ее крылом, а чайка сидит у нее на коленях спокойно, выставив крыло, а вся чайчья ватага молча наблюдала за происходящим.

– Излечивая птицу, ты окрыляешь свою душу, – весело начал Чжу Дэ.

Нищенка повернула голову. И время остановилось.

Это была Рада.

* * *

– Пресветлый, вызванный тобою центурион...

– Зови, – Эмилий Лонгин раздраженно махнул рукой охране.

Полог просторной палатки легата колыхнулся.

Вошедший Пантера хорошо владел собой и ничем не выразил своего удивления, хотя в глазах его заплясали рыжие искры.

Потому что легат Второго легиона, любимец солдат, покровитель и заступник, по приказу которого каждый из пяти тысяч легионеров не колеблясь шагнул бы в воды Леты, прославленный Гай Эмилий Лонгин предстал перед Пантерой обнаженным.

– Садись.

Сказав это, Эмилий Лонгин отбросил свиток, с которым расхаживал, и тоже сел.

Перехватил взгляд Пантеры.

– Жара... – вяло сказал он и прикрыл чресла полой туники.

– Это верно, – согласился Пантера.

Палатка легата, даже несмотря на размеры (а в ней можно было вольготно подкинуть и поймать пилум, не боясь за полог), не спасала от иудейского солнца.

Они смотрели друг на друга. Командир и подчиненный.

Тридцать лет – это хороший срок. За это время младенец вырастает в мужчину и вольготно подкидывает к солнцу своего ребенка. Что же говорить о двух мужчинах, избравших своим ремеслом войну и неплохо им овладевших, если этот срок исчисляется тремя десятками лет и еще не вышел?

Командир и подчиненный.

Жизненный путь Гая Эмилия Лонгина ни для кого не был тайной. Какое! Вся тайна уместалась на ладони каждого безусого новобранца, путающегося в ремешках калиг и не знающего своего места в строю. Дед его, простой ремесленник из Затиберья, выдвинулся в Первую гальскую войну и получил от Цезаря перстень²⁴

²⁴ Перстень являлся отличительным знаком сословия всадников, составлявшего вторую прослойку римского общества после сенаторов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.